*Владимир Лим*

# Последнее кочевье

*История вымышленная, но правдивая*

## *4*

Тропа становилась шире, в две колеи, и местами пахла машинным маслом. Но медведей это не отпугивало, эту тропу проложили они с десяток тысячелетий назад, — кратчайший путь от таёжных горных берлог до быстрых лососёвых рек.

Людей они терпели, сторонились и напоминали своими кучами, оранжевыми от непереваренных остатков прошлогодней рябины, что настоящие хозяева этих мест — они.

Этот хрупкий мир был нарушен чужаками — браконьерами: уже четвёртый год, с началом пандемии, а потом и войны на Украине, гоняют они здесь на квадроциклах, устраивают незаконную охоту на медведей, добывая шкуры, жёлчь, когти на сувениры и мясо для своих рыбобработчиков, перекрывших сетями заводи в реке.

И медведи стали злыми, некоторые, уже пожилые, не убегают, а заходят кругами в тыл людям, пытающимся выследить их, нескольких этих глупых отставших чужаков они в отместку убили ударом тяжёлой лапы, оставили нетронутыми трупы и смятые карабины недалеко от Тропы — в назидание живым.

Медведей здесь меньше не стало, браконьеры потрошёную рыбу бросали в реку, оставляли в низинах на берегу, и звери собирались на запах со всей округи, от моря до тайги, жирели на лёгкой добыче, медведицы приносили не по одному-двух медвежат, а по три и даже четыре.

Если люди сталкивались с медведем, подойдя с подветренной стороны, он убегал не сразу, вставал на задние лапы, злобно всматривался из-за кустов *имукэта* маленькими круглыми глазками, и только увидев поднятое ружьё, бросался на другую сторону реки, а ночью возвращался, выслеживал, разорял стоянку, вскрывал охотничью избу, выламывая окна и двери.

И эвены теперь по одному и без собак не ходили, не шумели, как раньше, предупреждая разговором или песней медведя о своём приближении, оглядывались, потому что теперь *Абача* перестал быть *дедушкой медведем*, одним из нас,

---

Окончание. Начало см.: № 7, 2025.

жителей тайги, озлобился на человека, и чтобы остановить его, пуля должна была обжечь ему морду.

Я шёл первым, Максимка за мной, потом Арсений, а Иван — последним, с моим ружьём наготове, в левом стволе дробь на птицу или зайца, а в правом — бездымный порох и тяжёлая, откатанная на большой чугунной сковороде самодельная пуля, способная раздробить не только кость, но и крепкий лоб медведя. Пулями, уже заводскими, были заряжены и наши с Максимом калашниковы. Максиму в дорогу карабин достался отцовский, на всякий случай. А у Вани в сумине был свой, без магазина. Перед отъездом он потренировался доставать его, видимо, вспомнил вестерн «Выживший» с Ди Каприо. Он и в дороге тренировался: достанет — засунет, достанет — засунет, как Максимка. Это была сумина Иннокентия, ему нравилось выдёргивать ружьё за приклад, тогда центр тяжести внизу, и его не перекашивает на ходу при быстрой езде. Я и внука натренировал, хотя калашников для него ещё тяжеловат.

Внук у нас немного пухловат, как и Иннокентий в его возрасте, но рослый, лет на двенадцать, быстрый, удивительно быстрый. У него есть одна особенность: если ему кинешь что-нибудь, помидор или мяч, и скажешь «лови», он ответит «что?» и не поймает, а если просто кинешь, сбоку или прямо, он машинально ловит. В этом есть что-то звериное, оно спрятано у него внутри и проявляется, если он себя не контролирует. Особенно если вдруг задумается. А задумывается он частенько, и, чтобы очнулся, его надо легонько толкнуть, хотя он этого не любит и даже может закричать. Я думаю, что эта звериная реакция — проявление особенностей его психического развития.

Я чувствую в нём этого спрятанного зверька, доброго, ласкового и очень быстрого. Видел похожих людей среди эвенов, у них сильно развито периферийное зрение, и это великие охотники, откуда такое у внука, который не убил ни одного живого существа, не знаю. Догадываюсь: видимо, переселение душ — это вовсе никакой не миф. Просто этот портал открывается не всем.

А может, там, над мирами, есть одна общая душа, и от неё загорается в избранных божественный огонь. И великое их предназначение — нести его людям.

Внук из «Сайги» стрелял даже лучше, чем из ружья, потому что она легче, короче, хотя приклад держал, крепко прижимая под мышкой, по привычке. Умудрялся пулей пробивать подброшенную банку. Этого не мог даже Иннокентий. Только из ружья.

Я заметил: хорошо стреляют люди, которые умеют рисовать, у кого рука твёрдая, расчётливая, вот пуля у них и летит точно в цель. А Максимка красиво проводит прямые линии и на доске, и в альбоме, как отец, им никакой линейки не надо, чтобы нарисовать квадрат или прямоугольник. Но для охоты нужно ещё глубокое правильное дыхание, как у биатлониста, и оно не от Бога, этому я учил их с детства.

А ещё в быстрой стрельбе, особенно влёт, важнее всего чувство цели, его можно выработать, и оно приходит к зрелости, а некоторые, как Максим, с ним рождаются, и этот дар даётся не просто так...

Мы дошли до притока Левой Кичи, к месту слияния с Правой, и теперь, слившись, это была уже река мелкая, быстрая, но широкая, вдоль которой и шла Тропа. Иногда Тропа уходила далеко от Кичи, огибая густо заросшие *имукэтом* низины и болота, обходя увалы.

Некоторые увалы, довольно высокие, похожие на сопки с плоскими вершинами, удостоились общего названия Утюги.

Эти места каждый год менялись, как и точки слияния. Переменчивость русла зависела от силы паводка весной и в начале лета. Весной в реку скатывался растаявший снег с окрестных лугов и тундры, и она выходила из берегов, разливалась почти до лимана, покрывая и удобряя вулканическим пеплом ягодники и кусты кисловатой жимолости, и быстро уходила, а в июне её наполняли тающие ледники Срединного хребта, и тогда эта яростная, летящая с гор река всё сносила на своём пути. Завалы леса, перекрывавшие русло, особенно в верховьях, делали её непроходимой для аэролодок и водомётов инспекторов. И оттого на Киче так вольготно браконьерам.

На месте слияния Левой и Правой Кичи, на крутом повороте высокого галечного берега стоял Пост гидрологов — крепкая изба из бэушного бруса, в ней жил и работал все перестроечные годы Вася Немцов — сильно пьющий безобидный одинокий инженер. В первый год пандемии его обнаружили мёртвым инспекторы, убийц-собутыльников так и не нашли, видимо, плохо искали, хотя они не позаботились даже сжечь Пост, чтобы скрыть следы преступления, должно быть, непреднамеренного.

А потом в сильный паводок берег подмыло, и изба как бы зависла над рекой северным углом, тем, где была спальня; пол в ней провалился, доски туристы разобрали на костры, и с тех пор здесь никто не останавливался: снизу, с реки, задувало, в доме стало неуютно, даже опасно — люди ночевали на крытой добротной южной веранде.

В этом месте я, восьмилетний, уходя по Тропе от отца, чуть не погиб: подо мной обрушился подмытый берег, — я наступил на повисший над водой дёрн; успел схватиться сначала за траву, потом, сползая, за корни берёзки. Я молился, просил прощения у отца — и не знаю, кто мне помог: Бог, отец или отчаянное желание учиться. Раскачался, держась за корни, прыгнул под дёрн на склон и оказался на самой кромке с рёвом летящей мимо ледяной мутной воды, которая бы завертела, затащила меня на дно, под суковатую корягу...

Зорька, моя лошадь, сама повернула к Посту вслед за Айной. Я вновь почувствовал запах машинного масла и попросил Максима оставить суму с оружием в кустах шиповника — вдруг здесь охотинспекторы, а карабин и ружьё зарегистрированы на Иннокентия. Забрал ружьё и у Арсения, оно числится на мне. Подумав, решил спрятать и своё оружие: я, кажется, забыл дома охотничий билет со всеми документами, а инспекторы бывают и снизу, с морского посёлка, на квадриках, могут прицепиться — там уже Соболевский район. А наши, из Быстринского, сверху, ездят на лошадях.

От Поста позвала лошадь, Зорька откликнулась, похоже, это был жеребец Вахрина. Хорошо, если Сергей Макарович здесь, расскажу про икру на леднике, пусть примет меры.

Но я ошибся, в тридцати метрах от Тропы, на широкой поляне, покрытой мелкой, пощипанной лошадьми травкой, стоял квадроцикл с прицепом, накрытый голубым новеньким тентом; на крыльце, рядом с металлической хлипкой лестницей на чердак, сваренной из арматуры, сидели три бородача в застиранном выцветшем камуфляже, пили пахучий кофе, подливая в него спиртное из плоской фляжки, закусывали бутербродами с икрой. К прицепу был привязан

жеребец Вахрина, Зорька его признала, низко, почти до земли, закивала головой. Жеребец потянулся к ней, но один из бородачей, нехотя надвинув чёрную маску, остановил его за хвост, тот брыкнулся сразу двумя задними ногами. Максим соскочил с оленя и положил руку коню на шею. Айна, как будто ей разрешили, тотчас же подошла к прицепу и принялась обнюхивать.

*А ну пошла!* закричал второй бородач, встав с крыльца, ростом чуть выше меня, лет сорока, с длинными сильными ногами танцора или спортсмена. На костяшках кулака у него были набитые мозоли бойца тхэквондо.

Айна сделала вид, что не поняла, схватила и потянула тент на себя. Обнажился дальний от нас поперечный ряд белых пластиковых двадцатилитровых контейнеров с икрой. Всего на прицепе её было миллионов на семь-восемь.

Айна учуяла икру, скорее всего, ещё с Тропы. Бородач достал широкий полированный нож, висевший на поясе, и, слегка загребая ногами, двинулся на неё. Айна отпустила тент и зарычала, шерсть на холке у неё поднялась, и она приняла грозную предупреждающую стойку. Вид её с наэлектризовавшейся гривой рыжих волос вокруг тяжёлой крупной головы был внушительным.

Максим обхватил её за шею, она рыкнула, слегка дёрнувшись, мол, не мешай, — так она привыкла воспитывать его ещё с той поры, когда тот ползал на четвереньках. Он негромко сказал: *Не надо, не подходите, она вам руку может перекусить. Тихо, Айна, тихо.*

*И правда,* подтвердил я, *если что, она у нас мослы коровьи перемалывает, мозг добывает.*

*Да ладно,* не поверил Борец, но остановился.

*Братва,* — крикнул нарочито весело Иван, — *не будем из-за собаки бодаться. Она у нас мирная, просто не любит, когда с ножом на неё, как и все мы.*

Борец спрятал нож, спиной оттеснил Максима с Айной, поправил тент, натянув на скобы по бортам прицепа. Лицо его было мне знакомо, хотя и скрыто бородой, очень он был похож на танцора из «Мэнго», отчисленного за драку, кого-то тогда он покалечил, даже фамилию вспомнил, — Баранович. А ведь прошло больше двадцати лет. Говорили, подался в ОПГ Шатена, стал его правой рукой.

На морде Айны был вопрос: *Хватануть за жопу этого нахала или нет?*

*Айна у нас икру любит, издалека чует,* объяснил Максим.

*Губа не дура,* отозвался бородач в маске.

*А вы тут надолго?* спросил у него Иван. И натянуто засмеялся: *Чайку хочется, аж переночевать негде.*

*Ну, это теперь от вас зависит,* как-то равнодушно сказал бородач в маске. А голос у него был приятный, баритон, и тоже отозвался невнятным воспоминанием.

*Это как?* удивился Иван и незаметно, пяткой, тронул лошадь, она послушно обошла меня и остановилась рядом с Максимом. За ними подтянулась и Красотка с Арсением, он, кажется, тоже почувствовал опасность, но я теперь потерял из виду внука. Пожалел, что сунул автомат в шиповник, обошёл Красотку, тронув Арсения за колено, он посмотрел на меня, я кивнул на бородачей, слегка зачем-то подмигнул ему.

*Очень даже просто,* сказал человек в маске, *один из вас пойдёт с нами, ну, хотя бы, малец ваш, чтобы рыбоохране не стуканули по поводу икры...*

Борец обнял Максима, прижал к себе, грубо смяв его выставленный локоть.

*Это с какого перепугу?* удивился Иван, и я увидел, как он пяткой ещё раз подтолкнул лошадь, и она встала за Максимом, уткнувшись в жеребца. *Да стой ты, холера,* прикрикнул он на лошадь, *жеребца захотела, блядина?*

У Вани сработал рефлекс военного разведчика, он мгновенно всё оценил и своим манёвром отрезал от нас человека в маске и третьего, худого, который встал и в руках у него был «сотый», должно быть, поднял с крыльца. Второй, Борец, вместе с Максимом, оказался между нами. У Вани теперь тоже был автомат, который он мгновенно выхватил из сумины, и прищёлкнул магазин с патронами.

Откуда и когда он достал магазин, я не заметил, возможно, заранее положил в карман. При этом Иван откинул отворот халата себе под правый локоть вместе с прикладом, открыв чёрную форму морского пехотинца с орденом Мужества, Чёрным Георгиевским крестом и двумя медалями за отвагу. Арсений подтолкнул Красотку и встал рядом с Ваней. И я понял, что он на всякий случай повторяет его движения, отсекает Максима.

*Ты главный?* спросил Иван у человека в маске. *Слушай сюда, мы везём прах моего комбата, это его отец, а это — сын. Он завещал развеять на реке, возле стойбища. И мы исполним его завещание. Попробуйте только меня остановить.*

Иван, почти не целясь, выстрелил в термос, и тот отлетел, забрызгав кипятком ногу человеку в маске. Человек невольно отшатнулся.

*Я на войне снайпер,* предупредил его Иван. *И на икру твою мне насрать!*

Борец поднял Максима на руки и, прикрываясь им, отступил к дому. Арсений послал коня за ними, тронув повод. Иван выстрелил ещё раз и выбил карабин из руки третьего, худого, из рукава его курточки выбежала струйка чёрной крови, вероятно, пуля задела рикошетом. Человек побледнел, шлёпнулся задом на крыльцо и схватился за локоть.

Теперь все они оказались на одной стороне. С Максимом на руках. Вплотную к Борцу, нависая угрожающе, — Красотка Арсения.

*Отпусти ребёнка,* сказал я Борцу — *Я пойду. Вместо внука.*

*А ну отошли от дома,* крикнул вдруг Иван и выстрелил дважды в крыльцо, на котором лежали два автомата. Щепки полетели в сторону бородачей.

Все трое отскочили, побледнели — видно, под пулями давно не были.

*Ещё раз стрельнёшь, и я пацану шею сверну,* пригрозил Борец, но как-то неубедительно.

Иван усмехнулся.

Я слез с лошади и подобрал «сотые», собрав в руке ремни.

*А где запасные магазины?* спросил Иван у главного.

*Больше нет, честно, не брали,* ответил вместо него раненый. Кровь у него больше не текла.

*Ладно, проверим,* сказал Иван. *Арсений, в багажнике посмотри, в прицепе, мало ли...*

Тот посмотрел, показал: аптечка, какая-то инструкция, банка моторного масла, документы. Патронов не было. Я взял аптечку, кинул раненому, тот не поймал, она ударилась о камни вокруг старого кострища и, треснув, раскрылась. В прицепе кроме икры, двух канистр с бензином и бокса с едой ничего не было. Я подошёл к браконьерам, похлопал по карманам, ища магазины. Борец, когда я ощупывал его, крепко прижал к себе голову Максима. И хотя у меня

помутилось в глазах от злости и страха за него, я, сдерживаясь, сказал негромко: *Чего ты вцепился в ребёнка? Не видишь, больно ему?*

Борец промолчал, но голову его отпустил, перехватил за воротник и слегка приподнял, заставив привстать на носки.

*Деда, они меня убьют?* так же тихо спросил Максим.

Я понял по его глазам, что он с трудом сдерживается, чтобы не закричать.

*Пусть только попробуют,* крикнул Иван, *я их тут и положу!*

Борец быстро достал нож и плоско прижал к груди Максима возле открытой беззащитной шеи, остриём под скулу. Арсений спрыгнул с лошади, потянулся к ножу.

*Сучара, пулю захотел?* крикнул вдруг Иван. И выстрелил, быстро вскинув автомат, пуля пролетела над головой браконьера, сдёрнув бейсболку, обнажилась потная лысинка с курчавым кустиком чёрных волос. Браконьер уронил нож, пощупал голову, лицо его стало серым, как у трупа. Арсений подцепил нож ногой, подтолкнул под лошадь.

*Возьми меня, а пацана отпусти, слышь?* — сказал я.

Борец машинально выпустил ворот Максима, я его рванул к себе, развернулся, заслонив собой, и подтолкнул к Ване. Но мальчишка, не останавливаясь, пробежал мимо него, к Тропе.

*Такой, значит, расклад,* сказал Иван. *Ну, Ильич, не стой, к нам иди, не боись! Они у меня на мушке.*

Я отказался, сказал, что не боюсь, а дал обещание.

*Бандюкам?* удивился Иван. *Это не считается! Мы, как Израиль, с террористами переговоры не ведём,* он натянуто засмеялся.

*Да какие они террористы, браконьеры... охреневшие,* сказал я.

*Если берут заложника, значит, террористы, и статья им светит не за браконьерство — до трёх, а за терроризм — до двадцати пяти,* догадливо поправил меня Иван.

*А-а-а!* с отчаянным воплем выбежал на поляну Максим. Глаза у него были пустые, сумасшедшие, а в руках — «Сайга» с прикладом под мышкой. Поравнявшись с Ваней, он огляделся и вдруг стал стрелять по термосу. Термос подскочил, и Максим точным выстрелом выбил его за обрыв. Сразу же перестал кричать, и глаза ожили, наполнились влагой. Из-под ногтя большого пальца правой руки текла кровь. Опять поранил скобой при отдаче.

Было слышно, как термос, скатываясь, гремит по галечному склону, потом плюхнулся в воду.

На бандитов выходка Максима произвела впечатление, едва ли не большее, чем выстрел Вани.

Я подобрал из аптечки бинт и стал заматывать внуку палец, пряча невольную улыбку гордости за мальчишку.

*Деда,* сказал он мне тихо, *пойдём с нами.*

*Не могу,* шепнул я, — *слово дал. А ты почему приклад не прижал?*

*Я забыл, деда. А тебя убьют вместо меня?*

*Мужики, у меня предложение, вы забираете «калаши», без магазинов, а мы забираем Ильича и мирно расходимся,* сказал натянуто-весело Иван.

*Не получится, вы нас сразу и сдадите,* угрюмо возразил главный.

*Ну, тогда мы его так забираем, а вы думайте что хотите. Насрать.*

*Так тоже не получится, если заберёте, мы в стойбище придём, сожжём всё, оленей разгоним, постреляем. Нас много, вы думаете, только на вашей речке мы, самодеятельность какая-то? Всё побережье под нами, а колхозы рыболовецкие всегда были нашими, ещё с девяностых... За ваучеры забрали. Так что давайте по-хорошему, мы вашему деду ещё зарплату будем платить, если работать захочет, технологом, к примеру, а то взяли одну, она туго соображает, баранит постоянно. Боюсь, икру нам попортит. Нам с местными тоже ни к чему биться, на одной реке с вами стоим.*

*Складно у тебя получается, а по факту — террористы и есть террористы... Ильич, ты слышишь, чё он говорит? Он нам угрожает, как лохам беспартийным! Типа они всё тут давно купили! Да не купили, а народ кинули! В депутаты пролезли — бандиты конченные, пришли, куда не звали, и свои порядки устанавливают! Им только палец дай, они по локоть оттяпают.*

*Я с ними пойду,* перебил я Ваню, *сделаем, как хотят. Нам война тоже не нужна.*

*И что, теперь прогибаться под них, даже если всё так, как они говорят? Приватизировали бандюки тут всё! Забрать на хер назад. А завтра они вам ясак назначат, и что, будете платить?* обиделся Иван. *Да вы на своей земле или нет? Вы хозяева или они? А если они вам запретят по-своему разговаривать, вы тоже согласитесь? А я так считаю, если враг пришёл, надо биться. Он житья всё равно не даст!*

*Слышь, боец, ты нас с Украиной не ровняй! У вас там, на войне, крышак у всех едет, везде фашисты мерещатся! Рыбы тут, хоть жопой ешь, на всех хватит. Всё равно пропадает,* вмешался вдруг раненый.

*Смотри-ка, он всё за нас решил! С кем кого ровнять! Да знаю я, вы из тех, кто нерусских тут терроризирует с девяностых, да и русских тож за людей не держит, оттирает, захапать всё хочет,* разозлился снова Иван. *Да я вас, нациков, тут и закопаю. Выпишу вам бесплатно землицы: полтора на метр. Вам хватит. И хер кто найдёт.*

*Найдут, ещё как найдут,* тихо пробурчал главный.

*Гут, давай по-другому, по закону, я позвоню в часть, контр-адмиралу Шуманину, скажу, что отца и внука командира, геройски погибшего на СВО, притесняют, в заложники взяли, хозяйство грозятся разграбить, оленей отобрать, они десантников на вертаке пришлют через пару часов... загонят вас, как крыс, гранатами закидают, никто вам не поможет, кого вы там задёшево купили... А морскую пехоту вам не купить, бабла не хватит! Погодите, вот мы с войны вернёмся, выставим вам счёт за всё, что вы нахапали у страны Советов!* Иван схватился за ворот, как будто собрался рвануть на себе мундир с орденами.

*Всё, баста, иду с ними, и это не обсуждается, считай, что командирский приказ,* закричал я Ване. Я понял, что он сам себя распаляет, и всё может закончиться смертельной стрельбой.

*Зря вы так,* примирительно и чуть виновато сказал мне Иван. И шумно перевёл дух, как конь, остановленный на скаку.

*Деда, я с тобой пойду,* Максим вдруг обнял меня, прижав больно к бедру приклад «Сайги», я и не помню, чтобы он так делал.

*Нет, ты должен доставить прах в стойбище, как велел папа,* буркнул, я и отвернулся, чтобы он не увидел слёз у меня на глазах, совсем стал к старости сентиментальным. *Только без меня не высыпайте, дождитесь. Так и передай дяде Саше.*

Я поспешно встал рядом с бандитами, отодвинув Красотку и Арсения.

*Дождёмся, ещё как дождёмся,* сказал со значением Иван, опуская ствол автомата.

## *5*

Услышав от Ивана про ясак, я вспомнил, что Саша, младший сын, попросил у меня весной пятьдесят тысяч рублей, сказал, что надо дать рыбинспекторам за перелов. И я дал, потому как перелов бывает всегда, рыбы по квоте нам на большую семью не хватает, да так по всей реке, у всех эвенов, и рыбинспекторы знают и смотрят сквозь пальцы. Но впервые они попросили за это деньги. Саша сказал, что они хотят перестроить под себя избу на Посту, перенести подальше от обрыва, будет общая с гидрологами.

Я совсем забыл об этом, не спросил у Сергея Макаровича, и он сам ничего не говорил.

Но по опыту работы в исполкоме я знал, что дополнительные средства на инспекторов, Посты или на лошадей, моторные лодки выделялись из бюджета района, решение принималось на сессии депутатами, а не собирались наличными с рыбопользователей.

Что-то тут не то, вполне возможно, как и предположил Иван, Сашу навестили бандиты.

Я помню, как восемь лет назад отозвали начальника краевого УВД, он был «засланцем» из Иркутской области, а та известна своими байкальскими браконьерами, да и лес они воровать мастера, у них граница рядом, но всё это было бы невозможно без коррупции по всей *вертикали власти*. Видимо, оттуда и привёз этот начальничек масштабные схемы умыкания государственных ресурсов хотя есть вероятность, что свои выросли и сели на икру и лес. Снять-то сняли, да по-тихому, а «сеть» осталась — что-то я не слышал ни о каких икорных или лесных уголовных делах: кто-то из больших чинов встроился. А что касается прибрежных рыбколхозов, то их действительно захватили лихие люди с помощью так называемых инвестиционных компаний, созданных бывшими работниками КГБ, банков и финансовых структур. Одна такая хотела приватизировать и наш совхоз, я ей помешал и заплатил двумя годами тюрьмы. А сколько таких хозяйств по всему Северу и побережьям захватили «бывшие» при поддержке откровенных рэкетиров. А теперь сидят в депутатских и даже губернаторских креслах, скупая голоса за «стеклянные бусы». Да и, думаю, крупные дальневосточные металлургические предприятия, в том числе и «оборонку», захватывали по той же схеме, да ещё и с иностранным капиталом или, в лучшем случае, с партийными деньгами.

Мы шли рысью, жеребец Вахрина тянул нас вперёд, видимо, понял, что к хозяину идёт, и Зорька спешила за ним. Я знал, что «главный», который как-то криво сидел на нём, долго так ехать не сможет, посадка у него явно туристическая: подпрыгивает в седле, валится с боку на бок, поднимается на стременах, да и стремена коротковаты для него.

Через пару часов перешли на шаг.

Иван, знал я, где-то недалеко, время от времени слышал ворчливый лай Айны, она звала меня, но не догоняла, не оставляла Максима.

Иван обещал «главному» выдвинуться не раньше, чем через пару часов после их отъезда.

Мы пошли по Тропе вниз, а двое бандюков на квадроцикле — уехали вверх, к леднику, где у них было хранилище икры. Но Иван, судя по всему, не сдержал обещания, ждал не больше часа. Ровно столько я слышал запах *Абачи* на Тропе — так пахнет в доме, где завелись мыши, только сильнее, а потом увидел оранжевую свежую кучу. А через час уже ничем не пахло. Скорее всего, медведь решил сделать круг и зайти к нам сзади, но почувствовал запах Айны, запах человека, сделал ещё круг, и теперь он шёл за Ваней и Максимом с Арсением, шёл против ветра.

Но Айна поймает его запах и облает, предупредит, если он подойдёт слишком близко. Она в лесу тоже ходит кругами.

Ей в августе исполнится девять лет. Её собачий возраст равен моему, но со мной не сравнить: она носится, как молодая, а меня жизнь-то потрепала... Ещё и артроз тазобедренного сустава из-за тренировок с утяжелением. Сноха Кристина подобрала лекарство, сама делала уколы, помогло, могу километров десять по дороге пройти, но не в тайге через буреломы. Иннокентий часто подшучивал надо мной и называл Кристину «твоя любимая сноха», подразумевая мою слабость к ней.

Она похожа на Лизу, такая же красивая, с характером, и от неё так же веет чистотой, но жена не была такой чистюлей, мне за ней приходилось дома частенько вещи подбирать, а у Кристины, можно сказать, какое-то болезненное пристрастие к порядку, она всегда знает, что и где у неё лежит. И это не воспитанное, а врождённое, — у неё немецкие корни. Прадед Кристины — лингвист Асмус, профессор Тартуского университета, и я помню его труды по учёбе в институте Севера, а Обухова она по первому мужу, погиб на сплаве в Карелии. Она с горя подалась в экспедицию на Камчатку, со мной познакомилась. А прабабушка у неё эвенка из Иркутска, приёмная дочь купца Шелихова. Поэтому для нас она эвенка, хотя и другой крови намешано, как и у меня, да и у остальных моих сородичей: русская, якутская и даже японская.

Это я сосватал их, Кристину и Иннокентия. Она ради него бросила работу в институте, уехала из Ленинграда в наш медвежий угол. Думаю, Максимка пошёл в неё. И только кажется, что у него в комнате беспорядок, на самом деле всё расположено по одному, разгаданному мной, принципу, который я назвал для себя принципом Тропы. Секрет в том, что Тропа делает в его комнате петлю с точкой пересечения под люстрой, куда он попросил сдвинуть стол. И если ты знаешь этот принцип, то всё у тебя будет в шаге: энциклопедии, трансформеры из Супер-крыльев, динозавры, коробки с пластилином и вылепленные им фигурки монстров, которых наберётся с сотню. Нужно только правильно выбрать маршрут.

Этот его принцип связан и с пристрастием к датам и хронологии. Он спрашивает лишь раз и запоминает навсегда: даты, имена, фамилии, города, столицы, материки. Ему в голову не приходит что-то записывать, да и навыков таких нет, он обитает ещё в бесписьменной эпохе. Максим, как древний грек Симонид, изобрёл свою мнемотехнику. И это всё тот же принцип Тропы, Максим на ней размещает всю эту инфу. А с тех пор, как он узнал о существовании периодов в виде столетия, то есть века, тысячелетия, его стала интересовать начальная дата, нулевая, и пришлось ему рассказать, что она связана с рождением Христа, ну а там пошли вопросы, кто этот Христос, если с ним связано начало нашего времени. И почему он на самом деле родился

на несколько лет раньше Рождества Христова, то есть своего дня рождения. Он узнал о существовании Библии, точнее, об Евангелии от Матфея, о том, что у разных народов разное летоисчисление, но этого в душе не принял, не согласился, просто смирился. Я понял, что его хронологическая Тропа сегодня начинается, точнее, по его обратному отсчёту, кончается где-то во временах птолемеевских фараонов или древнего Рима, и эпоха динозавров, названия которых он знает почти все, находится, с его точки зрения, в каком-то туманном безвременье. Поэтому, вероятно, он присоединил к моему отчеству название этих существ и зовёт меня Ильич-динозавр. Почему не Степан-динозавр? Возможно, потому, что прадед Илья, которого он никогда не видел, в его сознании — это почти такое же древнее существо, как и динозавр. Вполне вероятно, что и слово «древний» после моих рассказов о Христе и чтения первой книги Библии имеет для него совершенно иное значение, иначе почему он считает все церкви древними?

Надо сказать, ход мыслей Максима настолько бывает удивителен, что я не могу ручаться, что правильно понимаю или угадываю его.

Наконец, «главный» снял маску, а то мне стало казаться, что нижняя часть его лица просто отсутствует. Впрочем, она была прикрыта чёрной, с рыжими подпалинами и сединой, бородой, что-то обозначилось в его лице знакомое, проявившееся сквозь усталость и частые капли пота. Он заметил, что я вглядываюсь в него, и усмехнулся.

Мы остановились на плоском берегу, в метёлках ещё не распустившегося иван-чая, в начале длинной узкой галечной косы.

Я знал, что в конце её, там, где обратное течение, есть небольшая яма с мальмой и микижей. И пока лошади пили, зайдя в воду, я поймал на «вертушку» одну за другой четыре штуки.

«Главный» мирно дремал прямо на тёплой гальке, подсунув под голову свёрнутую курточку и прикрывшись голой рукой от солнца. На предплечье была тюремная наколка церковных куполов.

Я развёл небольшой костерок, собрав сухого плавника на косе, и запёк рыбу на углях.

*Хорошо пахнет,* похвалил «главный», он сел спиной к костру, снял берцы, аккуратно сложил длинные шнурки внутрь.

Я подозревал, что он не спит, а наблюдает, смотрит из-под руки, не сбегу ли, и зачем-то показывает мне наколку рецидивиста. Люди, проведшие много времени за решёткой, почему-то считают, что значение их татуировок известно всему мужскому населению России, особенно, «воры», высшая тюремная каста. Люди эти очень аккуратны и вежливы, как советские академики, разумеется, до поры до времени, пока их ненароком не заденешь. В гневе они просто безумны. Или делают вид.

Прежде чем приступить к еде, «главный» сполоснул руки в реке, пригладил бороду.

Рыба получилась вкусной — жирная, сочная. Только, нагулявшись, поднялась в реку с Охотского моря и успела на нерестилищах отведать икры горбуши и чавычи.

*Ну что, Якут, признал меня,* спросил «главный», улыбаясь в бороду.

И как только он произнёс моё тюремное *погоняло*, я сразу вспомнил его. Точнее будет сказать, он мгновенно оживил те два года, они возникли передо мной разом, как одна картина, одно полотно, детали которого открылись во всех мельчайших подробностях, хотя ещё секунду назад, казалось, они были безвозвратно похоронены в завалах памяти.

Я вспомнил двухъярусные кровати, заправленные тонкими мышиного цвета одеялами, их синие исцарапанные металлические стойки с изображением грудастых женских тел, серые, в отвратных ухмылках, гнилозубые лица, смердящее близкое дыхание, длинный стол с брошенными на нём запретными потрёпанными картами, длинные тяжёлые отполированные скамьи, прикрученные к бетонному полу, густой вязкий влажный запах перенаселённой камеры — немытых тел, мочи и пота. И этого двадцатипятилетнего, всегда хорошо выбритого, мускулистого Смотрящего, боксёра или борца. Это он сообщил на волю о следователе, давшем команду на издевательства и доведение до самоубийства, в сущности, он был единственным, кто во всём этом враждебном мире встал на мою сторону и спас, это я почему-то понял только сейчас, через тридцать лет. И это значит, что тогда *они* и я оказались на одной стороне — против системы и её законов. *Они* это знали всегда, а я — понял почему-то только сейчас.

*Да, Смотрящий, узнал,* сказал я. Но благодарить не стал, только понизил голос, — нельзя признавать, что ты им чем-то обязан.

*Ну и хорошо,* просто ответил он, *долго жить буду.*

Конечно, Смотрящий помнил, как они мне помогли, но им это ничего не стоило, им было *в кайф выступить,* как они говорят, против *следока.*

*И что, все стойбища обложили данью, самодеятельностью занялись?* почти утвердительно спросил я.

*А то ты не знаешь,* ответил он, внимательно вглядываясь в меня. *И не только стойбища, на Киче наш и колхоз «Труженик»,* — в голосе его я услышал почти юношеское бахвальство. Так хвастаются своими достижениями приятели, которые очень давно не виделись.

*Не знаю,* вздохнул я, *на пенсию давно вышел, поделки для туристов строгаю. Вот только не понимаю, зачем вам это, если колхоз ваш?*

*Ну, это, как говорят политики, другое... А я думал, ты в администрации опять заправляешь...* заметно разочаровался Смотрящий.

*В какой администрации?* удивился я.

*И что, даже не шаманишь, не лечишь?* не поверил Смотрящий.

*Сын у меня на войне погиб...* перевёл я разговор.

*В каком звании?* равнодушно спросил он.

*Подполковник, морская пехота.*

Смотрящему поворот разговора не понравился, он стал поспешно обуваться, как будто звание моего Иннокентия принизило его.

*А у тебя дети есть?* спросил я.

*Рыбинспекторы тоже под нами,* вместо ответа сказал Смотрящий, *вас трогать не будут, ловите, сколько надо... Будут напрягать только пришлых, левых,* в его голосе просквозила непонятная мне обида.

*Все рыбинспекторы?* удивился я.

*Ну, почти...*

*На реке не всё так просто,* сказал я, *в этом году переловишь, через четыре года рыбы вернётся мало, ещё переловишь — совсем не придёт. Капец реке через несколько лет.*

Смотрящий промолчал.

*У японцев на Хоккайдо когда-то тоже был лосось, теперь нету, теперь они в океане ярусы ставят, нашу рыбу на путях миграции берут,* продолжил я.

*Ладно лечить,* усмехнулся Смотрящий.

Айна обиженно и коротко залаяла совсем близко, наверное, Максим взял на поводок, не пускал.

Смотрящий ничего не сказал, только покосился.

## *6*

На «базу» доехали под утро, её поставили, как я и предполагал, за широкой болотистой низиной, километрах в трёх от Тропы, съезд замаскировали несколькими высокими кустами шиповника — их подрыли и сдвигали вместе с тяжёлыми комьями земли. Кто-то из местных научил браконьеров прятать свои тайные тропы. Нужно было только раз в неделю подливать воды под корни, чтобы листья не вяли.

Я помог Смотрящему передвинуть кусты и незаметно подкинул фантики от конфет Максима, чтобы Айна сразу же нашла проход. Тропка развернулась почти на сто восемьдесят градусов, потом под прямым углом свернула в густые, высокие, почти по плечи всаднику, пахучие заросли шеломайника, скрывавшие широкий перешеек в болоте. Мы прошли несколько километров на запад, углубились в лес и упёрлись в натянутую в высокой траве проволоку с часто навешенными на ней пустыми консервными банками.

Смотрящий свистнул несколько раз, проволока, гремя банками, упала на землю. Из-за толстого, как бы скрученного из нескольких стволов *дывэда*, берёзы Эрмана, в чёрных чешуйках бересты вышел вооружённый «калашниковым» человек в камуфляже и лениво, должно быть со сна, махнул рукой. Смотрящий кивнул ему. Я скинул ещё один смятый в шарик фантик.

Мы въехали в густые заросли однолистного папоротника-орлятника и шиповника, потом спустились в сухое широкое галечное русло, заваленное деревьями с завядшей листвой и ручейком на дне, и поднялись на большой остров.

Я не сразу вспомнил это место, прежде оно было высокой поймой противоположного берега реки, густо заросшего *дывэдом* и *имукэчем*, а в этом году, после сильного паводка, Кича вдруг изменила русло, сильно ушла на юго-запад, под самый высокий, густо заросший кедровым стлаником, непроходимый увал, углубив и расширив мелкую протоку. И теперь Тропа оказалась километрах в пяти от Кичи, и была отсечена обширной заболоченной низиной.

Минут через десять подошли к лагерю в лесу — пять зелёных военных палаток разного размера, поставленных по периметру широким кругом, и одна большая, в центре. Под туго натянутой между деревьями маскировочной сетью стояли длинный стол, собранный из тонких стволов *имукэта*, и две скамьи. В отдалении виднелся синий генератор, ещё дальше, под зелёным навесом из того же тальника, почти у самой кромки берега, заросшей высокой травой

и шиповником, на отлитой узкой бетонной площадке с бортиками стояли стальные разборные кухонные столы, крепко сцепленные друг с другом, вдоль них был навешан коричневый пластиковый водосточный жёлоб, уходящий в реку. Рядом находились пластиковые парамушки для яствков и двадцатилитровые контейнеры.

Это был настоящий цех для обработки рыбы, к нему шлангами насосом подавалась проточная вода, а отходы по жёлобу скатывались в реку. И столы, и большие грохотки для икры, и бетонная площадка со сливом были чисто вымыты, но запах тухлой рыбьей крови, пропитавшей лесную подстилку вокруг, был неистребим, и на него слетелись тучи синих жирных мух. Они облепили всю прибрежную траву и деревья в ожидании очередной добычи.

Ниже, на примыкании старого, теперь уже сухого, русла пятеро рыбаков в тёмно-зелёных просторных робах заводили сеть на клиновидную песчаную косу, она была тяжёлой от бившейся в ней крупной сильной кеты в чёрно-бронзовом полосатом брачном наряде.

Над рекой, над уходящей на запад излучиной низко висело подвижное облако тумана, над ним плыли плоские верхушки зелёных увалов, а ещё дальше, слабо освещённые восходящим за горизонтом солнцем, торчали снежные остряки Срединного хребта и возвышался священный седой двуглавый вулкан *Хоашен.* Золотистый в свете разгорающейся утренней зари.

Я лёгким поклоном приветствовал его.

Из ближней палатки вышла в розовом спортивном костюме высокая, с почти сросшимися длинными широкими бровями, очень худая и красивая узбечка и стала разводить огонь в большой сваренной из бочки печи. На печи, ближе к короткой трубе, стоял в прорези огромный казан, полный воды, рядом — большой алюминиевый чайник.

Увидев нас, узбечка приветливо улыбнулась и неразборчиво поздоровалась. Она, вероятно, хотела ещё что-то сказать или спросить, но не знала как, и потому подождала в вопросительном наклоне, не скажет ли ей чего-нибудь Смотрящий. Тот ничего не ответил и пошёл к соседней палатке, откуда вышел и сел у входа огромный, с телка, молодой маламут. Он позволил потрепать себя между ушей, коротко лизнул руку Смотрящему и неторопливо, слегка выворачивая наружу задние лапы, направился ко мне.

Я невольно напрягся, маламут обнюхал меня в паху и, удовлетворённый чем-то, улёгся на проплешину в траве, привалившись тяжёлым задом к моим ногам.

*Балу!* — строго сказал ему Смотрящий, показывая на меня. *Охрана!*

Балу посмотрел на него, вывалил язык и громко задышал, он безо всяких указаний знал, что ему делать со мной, незнакомым человеком.

Смотрящий расстегнул до верха вход в палатку, приподнял полу и кивнул мне, приглашая.

Изнутри она была для термоизоляции сплошь обшита серебристой подложкой под ламинат, кроме раскладного туристического столика и туристического же кресла в ней стояли вдоль стен три заправленные яркими китайскими пледами раскладушки.

*Будешь жить со мной,* сказал Смотрящий и указал на кровать в глубине палатки, возле стола, *если ночью подвалит Балу, есть у него такая манера, ты его ногой пихани, не стесняйся.*

Я отпросился расседлать Зорьку и привязать её возле старицы, там, где хорошая трава. Смотрящий сказал, чтобы я взял и жеребца.

Лошади охотно пошли со мной, я разделся, и мы зашли в старицу, но она оказалась мелкой, мне по пояс, я горстями плескал воду им на спины, мыльные от пота, и натирал мочалкой из травы. За мной некоторое время наблюдали рыбаки и Смотрящий, потом разошлись. Я громко посвистывал, приговаривал *Зорька, Зорька*, изображал лошадиное ржание, а потом тихо, но протяжно позвал Айну, издав несколько раз индейский клич, которому меня научил Максим. Она, мокрая, вскоре прибежала с западной стороны, это означало, что они обошли болото, пройдя под берегом по воде, встали в начале нового русла, там, где сильнее всего слышен запах протухшей рыбьей крови. Я написал записку: лагерь за большим болотом, на острове, не подходить, в лагере собака, вокруг сигнализация на крупного зверя.

Айна взяла записку в рот, как это делала, забирая поверх калитки у почтальона местную газету, и я, показав на тропку, сказал: *Максим!*

На повороте она оглянулась, низко прыгнула вперёд, и трава сомкнулась за ней.

Я пошёл в лагерь, жеребец шагнул за мной, но верёвка натянулась, он замотал головой, всхрапнул, будто просил взять его с собой. Наверное, соскучился по хозяину.

Вокруг стола толпились человек пятнадцать, в основном узбеки, они брали тонкие, как блин, лепёшки, смазывали сливочным маслом, ложкой стряхивали на неё икру и, свернув в трубочку, равнодушно жевали. Было видно, что эта непривычная им еда порядком надоела, так же неохотно они брали с противня куски запечённой в майонезе рыбы. Каждый раз, когда я встречался с рабочими-узбеками, удивлялся, как же они уже который год сдают экзамен по русскому языку, если даже не знают ни «здравствуй», ни «прощай»? Вероятно, кто-то там, в педучилище, крепко на этом нагревается.

Узбечка, разливавшая чай по кружкам, призывно замахала рукой и повторила несколько раз с неумышленной грубостью, приветливо при этом улыбаясь: *Кушать давай!* Я потянулся за лепёшкой, но стоявшие ко мне спиной узбеки и не подумали расступиться. Заметив это, узбечка что-то им крикливо сказала. Один, высокий, за два метра, почему-то в чёрной поварской куртке с красиво вышитым на груди красными нитками именем Бохадыр, обернулся и, улыбаясь, сказал по-русски, без акцента: *Давай, дядя, бери рыбу.* При этом он подался назад, бесцеремонно отодвинув спиной нескольких своих товарищей, и повторил: *Давай-давай!*

Судя по правильной интонации и хорошему произношению, парень был киргизом.

Узбечка, загрузив коричневый столовский поднос лепёшками, икрой, маслом, сыром и кружкой чая, вошла в соседнюю с нашей палатку. Выходя, она откинула полу, привязав за верёвочку к стойке, должно быть, там было что-то вроде склада — виднелись оранжевые коробки с корейским дошираком, майонезом «Оттоги», ящики с бурятской тушёнкой, мешки с мукой или крупой. Сбоку, в проходе, сидел на раскладушке в тени... Сергей Макарович, щурясь, рассматривал толпу вокруг стола, остановил взгляд на мне, но тотчас же отвёл и поднял левую руку, пригладил волосы, показав наручники и тонкий стальной тросик, уходивший под кровать.

Я свернул себе шаверму, напихав побольше икры, взял кружку со сладким чаем и сел в траву, прислонившись к бамперу квадроцикла, стоявшего между палатками, заметил, что тросик от лебёдки уходит под склад и на всякий случай незаметно повернул маленький рычажок блокировки. Теперь вал вращался свободно, и Сергей при желании мог легко смотать тросик и освободиться, но, подумав, вернул рычажок на место. За квадроциклом стоял ярко-зелёный мотобайк с кроссовой резиной. Я видел его в селе в конце весны, он с треском и хлопками отъехал от магазина, привлекая внимание, за рулём была крепкая девушка в чёрной кожаной куртке и в голубом закрытом шлеме.

Когда узбечка вышла от Смотрящего с пустым подносом, я громко спросил у неё, показывая кружку: *А без сахара можно?*

*Нета,* расстроилась вдруг она и стала тыкать рукой в чайник, — *там!*

Сергей услышал, что я сижу рядом, за стенкой палатки, и тихо, так, что некоторые его слова были неразборчивы, рассказал: *...работать на них... отказался, они... в палатку с наручниками... подумай... чего мне думать... с бандитами не по пути... угрожают завтра утопить... сына похитят... сообщи в прокуратуру или Росгвардии в Город, ментам не надо...*

*Я сам заложник, если убегу, они стойбище разгромят... оленей постреляют, разгонят, вот, думаю, что делать,* пожаловался ему.

*...Везде сигнализация... медвежья... бежать можно под левым берегом... по реке, ночью... прошу... помоги... Балу... придётся убить... охраняет... лает,* продолжал Сергей, будто не слыша меня.

Пообещал ему до ночи что-нибудь придумать.

*Хорошо,* сказал вдруг Сергей громко, с надеждой, и, снова понизив голос, добавил*: а то, боюсь, до следующего утра мне не дожить... у них начальник охраны... конченный фашист какой-то...*

От его слов, в которых вдруг прозвучала трогательная жалоба, похолодело в груди, он заставил снова вспомнить те два года в тюрьме, беспомощное одиночество и отчаяние... и безнадёжную мольбу, не к людям обращённую, потому что от них я ничего уже не ждал, а к Богу, к высшим силам...

А ведь у него, в отличие от меня тогдашнего, был выбор, он мог перейти на сторону этих бандитов, как легко переходят другие, да и требовалась от него самая малость — не замечать их существования, прикрыть глаза. Но Сергей, знал я, не мог дать им такого обещания, не мог пойти на эту военную хитрость, чтобы потом, получив свободу, сдать их. Или перед лицом смерти он всё-таки пойдёт на это?

Нет, Сергей этого не сделает.

Я помню его нагловатым задиристым мелким пацаном, жившим с бабушкой в бараке под снос, мать и отец были староверы, утонули зимой в полынье на Быстрой, затянуло течением под лёд. Он никогда не сдавал своих товарищей по детским, но опасным, почти криминальным играм, и он всегда напоминал мне того пацанёнка из «Честного слова», которого поставили на пост, но забыли снять. Сергей не мог дать слова, которого не собирался держать, потому что это до сих пор противно его мальчишеской душе, потому что это для него предательство, это против тех простых правил, по которым он живёт и от которых не может отступить. Также, впрочем, как и я, старый дурак.

Бандиты сделали большую ошибку, Сергей не из тех, кого можно подкупить или сломить угрозами.

Я почувствовал тяжёлую усталость от бессонной ночи, от ответственности за Сергея, казалось, не хватит сил дойти до постели, упаду и мгновенно провалюсь в сон, а когда очнусь, подумал я с надеждой, выяснится, что всё разрешилось чудесным образом само собой, — к примеру, прилетел вертолёт с хабаровским или магаданским, главное, не нашим, камчатским, купленным рыбнадзором и ментами. Сергей мне не оставил выбора, я обязан защитить его, а не трястись за своё хозяйство, своих оленей.

В палатке с откинутым входом сидел за столом Смотрящий, голый по пояс, руки у него, вдруг заметил я, перевитые венами, со времён тюрьмы потяжелели, мощные грудные мышцы слегка сгладились, покрылись жирком.

Перед ним стояла полноватая грудастая крашеная блондинка.

Я спросил разрешения войти.

*Заходи, заходи,* разрешил Смотрящий, *ты как раз нужен, я тут Аню, технолога, направляю, как бы нам расширить ассортимент и делать балык!*

Аня обернулась, и я увидел её тонкокожее лицо, по краям в мелких частых, как сыпь, прыщиках, что-то у неё с почками, она была далеко не молоденькой, за сорок, и при этом весьма высокого о себе мнения, упрямой, несговорчивой, судя по выражению её больших серых и сердитых глаз. Она заговорщицки усмехнулась мне, как будто я был того же негативного мнения о предложении Смотрящего, и сказала неожиданно низким голосом: *Петрович, мясо у нашей рыбы маложирное, и коптилки нет...*

Я ответил в тон ей, будто бы соглашаясь, но по смыслу напротив, в поддержку Смотрящего, что рыбу для этого необходимо разделывать иначе, не вдоль брюха, как делают их узбеки, а по спине, и получившиеся пласты надо будет, как говорят хирурги, иссечь на кубики, не отделяя от шкуры, а коптить можно и в маленькой палатке, только поднять её повыше, дымокурню же разместить внизу, к примеру, под высоким берегом, трубу сделать в земле, чтобы дым остывал и рыба не сваривалась.

Аня удивлённо посмотрела на меня и сказала, что это очень старый способ приготовления и теперь так никто не делает, и он возможен только при наличии специального оборудования.

*А мы попробуем,* обрадовался Смотрящий.

Мы вышли из палатки, Смотрящий пронзительно свистнул, рабочие, столпившиеся у разделочных столов, разом оглянулись. Аня поморщилась и подозвала Бохадыра, я вспомнил, что это имя означает на тюркских языках «богатырь». И он действительно был богатырём.

Я указал им место возле старицы, на западной оконечности острова, где лес подступал почти к самому полутораметровому обрыву. Когда возвращались в лагерь, я подчёркнуто порекомендовал Ане рыбу солить в тузлуке, а перед копчением отмачивать и подвяливать. Она промолчала, только неохотно кивнула, вероятно, ей не понравилось, что в моём лице она получила если не ещё одного начальника, то советчика, близкого к Петровичу.

## *7*

Самое странное, как только я вытянулся на раскладушке, сонливость прошла. Я вдруг задумался, и не о Сергее, и даже не о тюрьме, а почему-то о той женщине, что меня родила. С тех пор, как перед самой смертью отец рассказал

мне её историю, я старался не думать о ней. Мне казалось, что эта наша семейная тайна не имеет никакого значения, неважно, кто тебя родил, главное, с кем ты жил и кто помогал тебе идти по этой жизни. Но с возрастом я стал замечать, что во мне прорастают странные желания и предубеждения, открыл вдруг, что мне всё более неприятен вид и вкус мяса, что я не люблю холод и часто мёрзну, в то же время люблю воду, особенно тёплую, люблю купаться и мыться, люблю овощи, яблоки, каши, особенно рис, люблю чистую стираную и глаженую одежду, а мех и шкуры раздражают мою кожу, и в детстве я долго не мог освободиться от какой-то непроизвольной, злившей меня жалости к убитым мною живым существам, особенно к уткам и куропаткам, ещё мгновение назад доверчиво летевшим ко мне на кряканье манка, и вот они уже в моих руках, и я чувствую, как из них уходит тепло и вместе с ним — сама жизнь... А главное, я стал вдруг осознавать свою страсть к учёбе, неистребимое стремление узнать всё об окружающем мире, понять суть происходящего вокруг. Это началось с первой попавшей мне в руки книги: Евангелие от Матфея на эвенском языке. Это было как бы нечто отделяющее меня от моих товарищей, моего народа. Ведь эта страсть увела меня из стойбища, от родного очага, от оленей, родни и отца.

И стали оживать рассказы об этой женщине, от которой осталась только крохотная потёртая любительская фотография, переданная отцом незадолго до смерти, с полустёршимся японскими именем и фамилией, коряво, но с вензелями написанными по-русски на обороте: Ногаи Мисико, 19 декабря 1947 года. Это была женщина с необыкновенно нежным и тонко очерченным лицом.

Она оставила нам по себе странную боль: я чувствовал себя отверженным ею. И когда думал о том кривоногом рахитичном малыше, неуверенно ковылявшем в своём эвенском детском меховом комбинезоне к *важенке,* присасывавшемся к её соску, соревнуясь с телёнком, — плакал от обиды. Видимо, я так же, как и отец, почему-то любил её и тосковал, особенно в старости.

Впрочем, я не чувствую себя старым или больным, у меня ничего не ноет по утрам, кроме, может быть, правого бедра, сохранил своё зрение и выносливость.

Проснулся я оттого, что меня скинули с постели, рывком опрокинув раскладушку, я выкатился из палатки к мотоциклу и вскочил. Тотчас же ко мне подошёл Борец и, захлёбываясь от гнева, заорал, что моё место не в палатке начальства, а у параши и в наручниках, при этом попытался ударить ногой, но я машинально выдвинул навстречу свою, развернув коленом вперёд, и он больно ударился в неё костяшкой голени. В глазах Барановича, а это точно был он, мелькнуло удивление — не ожидал такого от пожилого *терпилы.* Он мгновенно перестроился и в прыжке двинул меня не каратистским, а боксёрским боковым правым, я успел только слегка откинуть голову, смягчить, а так бы лежать мне в нокауте. Он подскочил и стал умело обрабатывать меня своими сильными ногами, приговаривая: «Ах ты, падла черножопая, подлюка сраная... стрелять в меня...»

Его оттащил Петрович, обхватив своими длинными мощными руками со спины. Баранович попытался освободиться, ударив локтем, тогда Петрович швырнул его на землю борцовским приёмом через себя, навалился на него, безжалостно припечатав лицом в траву.

*Ты руку на своего поднял! Это Якут, его Хозяин определил в положенцы после бунта в тюряге,* прошипел он в ухо Барановичу.

*Ладно, понял,* согласился тот*, пусти!*

Нас окружили узбеки, Бохадыр помог мне подняться.

*Положенец, говоришь,* негромко, но злобно, угрожающе сказал мне Баранович, *а по мне — падла ты черножопая.* Он вытянул руку в сторону Смотрящего со словами*: Да не трону его... пока*.

*Во-первых, Баранович,* я быстро приспустил штаны и показал ему свою белую незагорелую задницу, *у меня она такая же, как у тебя и у других!*

Люди сзади меня засмеялись, особенно громко, с причитанием, хохотнула Аня.

*Значица, фамилиё моё тебе известна?* приблатнившись, выговорил язвительно Баранович.

*Во-вторых, ты нигде не сидел больше пятнадцати суток, даже в Корее, так что не придуривайся блатным, знай своё место. И мне известна не только фамилия, но и происхождение твоё! Мать у тебя украинка, это да, ничего не скажу, а отец у тебя тигильский эвен, но ты не «падла черножопая», хотя даже танцевал в «Мэнго» и научился там махать ногами, пока тебя не попёрли оттуда, а обыкновенная фашистская гадина,* с чувством сказал я.

*Вот что, Петрович, ты слышал, чё он базарит, хочет опустить перед всеми, мать мою приплёл, и мы теперь должны решить между собой, без сходняка, кому из нас жить,* Баранович достал свой широкий тяжёлый нож, и я тотчас же вспомнил, что раньше он всюду ходил со складной «бабочкой», открывая и закрывая её. Баранович повернулся к Смотрящему: *И пусть кто-нибудь попробует нам помешать,* он с разворота швырнул в меня клинок, но что-то не рассчитал или сделал это умышлено, — тот с силой ударился в мою грудь почти плашмя и лишь рассёк кожу, я почувствовал струйку крови, стекающую к животу.

Баранович тотчас же кинулся на меня, я почувствовал, как кто-то сзади вложил в мою левую ладонь мокрую рукоять лёгкого ножа, и выкинул вперёд руку, сделав вид, что хочу ударить его в правый бок. Баранович перехватил клинок двумя руками, а я в то же мгновение резко, насколько мог, ударил его в кадык. Этот удар в спортзале Академии нам показывал тренер по боевому самбо, мы его часто имитировали, но никогда не применяли, и вот теперь, спустя почти тридцать пять лет, я его каким-то чудесным образом воспроизвёл, но переусердствовал, противник мой схватился за горло, захрипел и боком повалился на землю, суча ногами. Я растерялся, отступил, испугавшись крови, проступившей из-под ладоней, но быстро сообразил, что это он порезался о шкерочный нож, который я по-прежнему сжимал в руке.

Баранович продолжал хрипеть, хотя должен был уже отдышаться и встать, и тут стало ясно, что я вдавил ему гортань и нужно это как-то исправить, иначе человек задохнётся, и кинулся на колени. Смотрящий неправильно меня понял и схватил за руку, я кивнул ему и отпустил нож, попытался отнять ладони Барановича от горла, но тот не дал, тогда я просунул под них пальцы, нащупал трахею, смятое место, и с усилием сжал с боков, почувствовал, как два или три хрящика встали на место, и поверженный враг мой свободно вдохнул.

Очевидно, никто не понял смысл моих манипуляций, разве что Петрович и сам Баранович, он, посеревший, отдышался, взглянул с облегчением своими

налитыми кровью глазами, сел, но тотчас же несильно пнул меня ногой. Я опустился рядом с ним и обнял за плечи, Баранович не сопротивлялся — даже небольшое усилие должно было отдаваться в горле резкой болью.

*Через пару дней пройдёт,* сказал ему, осмотрев горло, *только ничего не трогай.*

Узбеки разочарованно вернулись к рабочим местам, Бохадыр подобрал нож, который я обронил, — это он мне его подсунул. И мы обменялись понимающими взглядами.

Смотрящий, придерживая под локоть, отвёл Барановича, семенящего на полусогнутых, в палатку.

Я попросил у Ани пластырь, и она сказала, что аптечка у них «дома».

Майка на груди пропиталась кровью, Аня, причитая, сняла её через голову, велев поднять руки. Рана оказалась глубже, чем я думал, и её следовало зашить. Аня обработала спиртом иголку и нитки, в четыре стежка прихватила края раны, грудная мышца, когда она притрагивалась к ней пальцами или губами, откусывая нитку, непроизвольно дёргалась, и женщина удивлённо взглядывала на меня. Закончив, она машинально чмокнула меня в грудь, потом, подумав, стёрла поцелуй ваткой со спиртом. При этом она как-то искоса серьёзно взглянула на меня. Я даже слегка смутился.

Аня предложила прилечь у них, для спокойствия и пока просохнет майка и курточка, которые постирала и подлатала Маша, так звали по-русски повариху. Они указали мне на раскладушку, но, вспомнив Барановича, я сказал, что лягу на земле, сходил к лошадям и взял керемат и спальник. Зорька мирно стояла рядом с жеребцом, положив ему голову на спину.

Разбудил меня мужской приятный баритон, в палатке горел фонарь, подвешенный на сук центрального столбика рядом с мотоциклетным шлемом.

Значит, был уже поздний вечер, я проспал часа три.

Петрович полулежал поперёк раскладушки, глубоко продавив её, Маша пристроилась сбоку, на самом краю, в неудобной позе, чтобы не съехать к начальнику, держалась за дюралевую трубку под матрацем. Аня сидела напротив, откинувшись на локтях, тоже поперёк постели.

Петрович, посмеиваясь, говорил им о том, как мы сидели в тюрьме, как я вёл переговоры с *беспредельщиками* во время бунта, что благодаря мне никого не убили, под конец он рассказал, преувеличив мои успехи, историю лечения нескольких сидельцев, отметив, что особенно успешным было исцеление, когда больные прикладывали свои нездоровые места к моему животу, лбу или заду. Я чуть не расхохотался, вовремя прикусил капюшон спальника. Аня засмеялась, видать, поняла шутку. Маша с любопытством поглядывала на меня, очевидно, плохо зная русский, не могла оценить юмор Петровича и всё приняла за чистую монету.

Уходя, Петрович вновь пошутил: *К старому не приставать, а то так залечит, на работу не встанете!*

*Разберёмся,* засмеялась Аня и застегнула вход на деревянные шпильки.

Я немного полежал, потом, нарочито кряхтя, выполз на улицу под стенкой палатки и сходил по-маленькому на колесо квадроцикла, чтобы не шуметь. Шёпотом окликнул Сергея, он радостно отозвался, велел ему ждать, сообщил, что снял лебёдку со стопора.

Подошёл и обнюхал лужицу мочи Балу, махнул хвостом.

Теперь ничего не оставалось, как бежать, — если Баранович оклемается раньше времени, нам несдобровать. Он был в своё время правой рукой Хозяина, потом крышевал русских предпринимателей в Пусане, скрылся от южнокорейской полиции и несколько лет отирался в Москве, наверняка у него большие связи в преступном мире, он имеет свою долю в легальном бизнесе *общака*, а сейчас вместе с Петровичем разрабатывает браконьерскую *тему*, не исключено, что это их собственная, *левая*, тема, без участия «воров». Судя по всему, хотят *сесть* на рыболовные участки нацменов, обложить данью, а потом и вовсе оттеснить или, в лучшем случае, выкупить лимиты на улов.

Засыпая, вспомнил Лизу, последние месяцы перед её смертью мы вместе не спали, и после похорон мне снилось, что жена за это меня корит, я думал тогда, что так она зовёт к себе, не хочет быть одна.

Разбудила Маша, голая, бесстыдно забралась ко мне в спальник, стянула с меня трусы, отвернула и стала тереться тощим горячим животом о мою задницу, приговаривая: *Мужик моя не люби, детей она нада, помогай, дохтора*, потом забралась на меня и принялась старательно тереться волосатой сухой промежностью о мой лоб. Я чуть не расхохотался. Сползая с меня, нечаянно коснулась моего вспухшего члена, вскрикнула по-своему и захихикала.

*Тихо,* шикнула на неё Аня, *разбудишь всех!*

*О-ё-ё! Не старая, дохтора,* в ответ засмеялась Маша.

*Чего?*

*Сама попробовай давай!* снова засмеялась Маша.

*А ну, слезай!*

Маша благодарно поцеловала меня в щёку и быстро переползла на свою раскладушку, зашелестела одеждой.

Аня неуклюже навалилась на меня в темноте, она была в длинной плотной рубахе до пят, расстегнула до конца спальник, попутно легонько, как бы невзначай, тронула меня в паху. Она хорошо ориентировалась в темноте, да и, вероятно, устройство мужского тела ей было хорошо известно.

Она легла рядом, потрогала пальцами пластырь, спросила: *Болит?*

Я сказал, что нет.

*Хочешь?* грубовато спросила она, тронув меня внизу.

*Да не совсем,* сказал, *я жену люблю.*

*Надо же,* ласково удивилась Аня, обнимая меня за шею, *а где старушка твоя, дома ждёт?*

Я почувствовал, как она улыбнулась в темноту.

*Можно и так сказать, а вообще-то она умерла девять лет назад. И ждёт меня там.*

*А ты ещё и романтик у нас,* Аня снова улыбнулась, продолжая трогать своей тёплой мягкой ладонью, *мне сперма твоя нужна, господин доктор, говорят, от прыщей помогает, верно? Замучилась с ними.*

*Не у кого больше взять? Мужиков бесхозных вокруг полно.*

*У кого, у мигрантов, что ли?*

*А они, что, не люди? Обезьяны?* удивился я. *Бохадыра попроси.*

*Да я не к тому,* нашлась Аня и сжала ладонь, *разболтают...*

*Ну, не знаю... жареного, жирного не ешь...*

*А я знаю,* сказала Аня и стала механически двигать рукой, приблизив тесно своё лицо, я почувствовал её тёплое чистое сбивчивое дыхание, так приятно пахнет от людей со здоровым желудком и поджелудочной.

Через минуту она слегка запыхалась и попросила меня перелезть на другую сторону: *Рука устала, поменять надо,* сказала она. И когда я, подчинившись, переполз через неё, она быстро раздвинула и подняла ноги, взяв их в замок у меня на спине, обнаружив изрядную гибкость, обхватила и шутливо крепко и одновременно нежно прижала к себе тёплыми руками. Засмеялась, тихо, ласково, в самое ухо: *Попался!*

И мне вдруг на какое-то распахнувшееся бесконечное мгновение открылась ночь в нашей спальне, тихий близкий шёпот Лизы, смутный блик от окна в глазах, сонный приглушённый смех, переплетенье рук и ног, родное тёплое объятие, и меня подхватила, понесла нежная мягкая благодарная волна забытого телесного счастья...

Я проснулся от шороха, рядом, на боку, поверх спальника, привалившись ко мне, ровно, тихо дышала Аня. Айна лизнула меня, а заодно и девушку, и выползла из палатки, я услышал поскуливанье и неясные звуки какой-то возни, быстро оделся.

*Убегаешь?* спросила Аня.

*Да, пока Баранович не очухался,* невольно признался я.

*А-а, я думала на своё место идёшь, а ты совсем. Тут ты прав, этому убить человека в удовольствие, верно ты его обозвал. А ты живёшь где, в Городе?*

*В Эссо будешь, заходи...*

*Заеду, если не шутишь, в начале сентября только, фамилия как?*

Я сказал и посоветовал ей маску с лица смыть, а то может быть от свежего белка раздражение, а то и ожог.

Она встала, при этом ударилась головой о мотоциклетный шлем и, засмеявшись, выругалась, освободила на ощупь шпильки из петель и выглянула из палатки, было очень темно, генератор выключили, тенями нависали деревья. Айна стояла рядом, у входа, с палкой в зубах, вплотную к ней, опустив голову, — Балу тянул за другой конец. Айна всегда так делала, если хотела подружиться с чужой собакой. Но это было очень редко.

*Никого,* сказала Аня и, обхватив на мгновение, подтолкнула меня.

Сергей меня ждал, тросик намотал на руку, но от лебёдки не отцепил, не смог в темноте.

Я повёл его почти на ощупь вдоль берега, через лес, Айна с Балу шли рядом. Лошади так и стояли возле старицы, выщипали всю траву вокруг. Быстро оседлали их, Сергей, забывшись, ударил тросиком о стремя, оно коротко зазвенело. Мы замерли. Затаились. Кто-то вышел из палатки, громко зевнул, зажурчал. Мне показалось, что это Смотрящий, сделав своё дело, он окликнул Балу. Пёс подбежал, но к палатке не поднялся, заскулил. *Охраняй,* приказал человек и ушёл.

Вывели лошадей к реке, спустились в воду и пошли под самым берегом, низко пригибаясь в седле от нависавших гибких веток *имукэта*, вверх по течению. Река сильно шумела на мелких перекатах, скрадывала шаги.

Иван нас ждал, моргнул в траве фонариком. Максим спал, сидя на свёрнутом кермате, привалившись к лежащему белому оленю и обнимавшему

его Арсению. Балу стал обнюхивать всех, но Айна оттеснила и повела вдоль берега.

Балу шёл с нами по Тропе до самого съезда к лагерю, там остановился, принюхался, я понял, что он нашёл фантик.

Айна постояла с ним, отдала ему палку, которую несла от самого лагеря, потом догнала нас. Балу ни разу не залаял, только дружелюбно поскуливал и помахивал своим пышным хвостом. Не пришлось убивать. Спасибо Айне, умнее её нет никого.

Два часа мы скакали галопом, ещё два часа — рысью. Арсений вырвался вперёд, сидел в седле по-спортивному, как влитой. Река ушла вправо, нас разделяла очередная широкая заболоченная низина, кое-где, островками, заросшая берёзой Эрмана и кедровым стлаником. Тропа, обходя болота, поднялась на широкий тёплый ещё увал, и мы оказались в лесу, по низу густо заросшему орлятником и шиповником. Остановились. Айна спустилась с Тропы, сделала круг, нашла холодный ручей у подножия увала, вернулась мокрая. Я несколько раз сходил с котелком за водой, напоил лошадей и Ваську. Арсений быстро, умело их расседлал. В отличие от нас, четыре часа езды совсем не утомили его.

С плоской вершины было хорошо и далеко видно, почти до браконьерской тони. На Тропе ни впереди, ни за нами никого не было. Я смотал с руки Сергея тросик, Иван, поковырявшись шилом швейцарского ножа, умудрился открыть наручник.

Сразу за пологим поворотом, перед подъёмом, мы натянули этот тросик — наискосок — поперёк Тропы, спрятав в высоком шеломайнике, на уровне руля квадроцикла, я настоял выше не поднимать — могут заметить, сказал; на самом деле просто не хотел, чтобы им головы оторвало, во всяком случае, Петровичу, да и так, если врежутся на скорости, аварии не избежать. Ну что ж, нас они точно не пожалели бы. Если догонят, то убьют — к примеру, Сергея — а потом и нас как свидетелей.

Расстелили керематы и легли отдохнуть, Иван остался дежурить. Я вновь не мог уснуть, странным образом думал об Ане и одновременно поглядывал на Ивана. Максим спал неспокойно, вертелся, выпростал руки из спальника, я обнял его...

Иван, перед тем как прилечь, прошёлся с Арсением по увалу и сказал, что это *самое место* для засады: справа крутой спуск к реке через болото, быстро не обойдут, слева лес, но редкий, старый, хорошо просматривается, возле откоса два упавших друг на друга огромных тополя, там укроемся. Я сказал, что эти деревья когда-то спилили люди, пришедшие снизу, с берега моря, хотели баты для туристов строить, но почему-то передумали.

Максима решили отправить в стойбище с запиской, чтобы поднимали народ, готовились, отогнали оленей, позвонили в часть военным, а если придут бандиты-охранники снизу, из «Труженика», не пускать до нашего прихода.

Я приготовил завтрак из тушёнки и риса, еле добудился Максима, накормил его, сонного, и Айну, дал еды с собой на два дня, банку тушёнки. Иван разложил оружие на кермате: четыре автомата, включая два браконьерских, пять магазинов, маленькая сума с патронами и два ружья, два полных поясных патронташа, один с дробью, один наполовину с пулями, наполовину с картечью.

Максиму дали ружьё с пулями и автомат с рожком — для Саши. Автомат засунули в сумину, примотали к подпруге, чтобы не выпал. Я объяснил внуку,

что к ночи, если не будет останавливаться, дойдёт до охотничьей избушки, она отмечена у него в навигаторе, там он должен обязательно переночевать, в темноте идти по лесу очень опасно, Ваську надо на ночь взять с собой в избу, на реке много медведей, могут испугать оленя, а если он сбежит, то пешком Максиму идти до стойбища ещё полтора дня, а так доберётся завтра к обеду, в крайнем случае, если шагом, к ужину. Главное — что бы ни случилось с Тропы не сходить.

Я проводил внука до конца увала, посмотрел, как он спускается по откосу, исчез за бугром и появился снова, уже в лесу. Максим ушёл охотно, был оживлён, ему нравилось, что его отпустили одного в лес с таким важным заданием. А я переживал, что он может уснуть на Ваське, упасть или сойти с Тропы по какой-нибудь надобности — мало ли какая фантазия придёт ему в голову, — упадёт в яму, их там полно, неизвестно кто и для чего когда-то нарыл их, и не сможет выкарабкаться... или Васька испугается медведя и убежит, или потеряет шляпу с накомарником и его одолеют комары. Издалека он казался совсем маленьким, беззащитным несмышлёным ребёнком, и хотя я понимал, что это совсем не про него и лес ему — родной, он знает Тропу с четырёх лет, продолжал волноваться.

Айна стояла возле меня, переступала лапами, как лошадь на старте, нетерпеливо поскуливала, ждала команды.

*Айна...* — начал я и не договорил, она уже неслась по склону за Максимом.

Ангел хранитель. Я спокоен, когда она с ним.

Пока меня не было, Иван и Сергей крепко поссорились. Иван настаивал, требовал первыми начать стрельбу на поражение, сразу же, как только *бракуши* въедут в тросик.

Сергей упирался: *Так нельзя, это не война и это не враг, а такие же граждане, как и мы, и мы не можем стрелять без серьёзных оснований. Это будет превышение пределов самообороны, и нас ещё и посадят.*

*У них боевое оружие, и они взяли тебя, старшего инспектора рыбоохраны, при исполнении своих должностных обязанностей в заложники, как и Ильича, грозили убить к утру, сына похитить, — это что? Не основание?* возражал Иван.

*Это основание для задержания, но не убийства! Угрожать — это одно, а делать — другое.*

*А кто сказал, что мы собираемся убивать? Мы хотим их задержать, отнять у них оружие! А они оказали сопротивление. И я тебе, Серёга, скажу, не для прессы,* при этом он взглянул на Арсения*, я эти рожи уже видал на войне, это и есть настоящие враги. Им только дай волю, этим нацикам, они же нас за людей не считают! И хера им! Я буду их убивать, пока патроны не кончатся! А если ты и в бою собираешься перечить, то пулю точно поймаешь. Такие правила на войне, чтоб ты знал,* закончил Иван, окончательно выйдя из себя.

Сергей промолчал, только растерянно улыбнулся мне.

*Ильич,* — обратился Иван ко мне, *дай трубку курнуть твою, псих меня накрыл, страдаю этим, афганский синдром называется, только куревo помогает или двести грамм.*

*Трубку не дам, у нас так не принято, а вот сигарету — пожалуйста, припас на всякий случай,* я достал из сумины пачку сигарет и бросил Ивану.

Иван всё-таки осерчал на Сергея, да и на меня тоже, велел костёр больше не жечь, чтобы дымом не пахло, чай варить на газовой плитке. Потом спустился вниз, бродил там по кругу, что-то высматривал, говорил сам с собой.

Через полчаса вернулся, подобревший, но сосредоточенный, напряжённый, изложил план предстоящего боя. Арсению он определил место на левой стороне откоса, за берёзой, будет стрелять дробью, отпугивать, если бандиты рванут к болоту, но это маловероятно. Мы с Сергеем должны укрыться в тополях, стрелять начнём, как только бандюки сунутся к нам на увал и откроют огонь. Укрыться им будет негде, сто процентов начнут палить и залягут на откосе, или пойдут справа, а там, снизу, по ним ударит Иван. Есть, конечно, небольшой шанс, что всё-таки кто-нибудь из них, когда начнётся стрельба, пойдёт в обход слева, вдоль болота, и если они не испугаются ружья Арсения, то их должен будет отсечь Сергей, он, стало быть, заляжет в самом углу, между тополями, чтобы контролировать и левый, западный, откос. А мне следует перемещаться вдоль бревна и стрелять с разных мест, показать врагу, что нас больше, чем четверо. Поскольку мы не знаем, есть у них гранаты или нет, надо следить и, если прилетит, прыгать за второе бревно. Отступать будем в лес, на запад, все трое, там есть ещё упавшие деревья, можно залечь и отстреливаться, а Иван будет бить по ним с тыла.

Дежурим по очереди, меняемся через два часа, первым — я.

Иван и Сергей уснули почти сразу, сказалась бессонная ночь, а я прилёг с Арсением на тёплом откосе и смотрел вдаль, на великий *Хоашен*, на ветвистые заснеженные его складки — отроги, спускающиеся к зелёной подошве, и ниже, на плоские вершины утюгов, туда, где укрылась в лесу браконьерская тоня. И с неудовольствием чувствовал, что Арсений хочет что-то сказать или спросить о Кристине, и когда он повернул ко мне своё лицо, я слегка нахмурился и сказал ему: *Давай спи, потом будет некогда, ночью, после боя, будем пробиваться к стойбищу.*

На открытых, свободных от леса местах, угадывалась Тропа, иногда мне казалось, что я вижу вихри пыли, и тогда слышал, как часто, неровно начинает биться сердце. И не мог освободиться от этого навязчивого переживания предстоящего боя, так наглядно, с экскурсией по указанным местам, обрисованного Иваном. Раз за разом этот бой прокручивался перед глазами, и так же сильно, отдаваясь в ушах, билось сердце.

Но в душе моей теперь был мир, я смирился с тем, что потеряю стойбище, оленей, но спасу Серёжу Вахрина и свою честь.

Я не боялся смерти, не боялся расстаться с этой жизнью, с близкими людьми, ведь рано или поздно встречусь с ними в другой вселенной, но не мог, отчаянно не хотел оставлять в этом мире одним своего внука, своего Максима, как оставил его отец, мой сын Иннокентий.

Никто, кроме меня, не знает, какая трудная жизнь уготовлена ему. Какая открытая у него душа, как тянется к другим людям, а они не понимают и отвергают его, и как легко обмануть этого маленького, не ведающего зла человечка. И не будет мужской руки, которая поддержит его на этом пути.

Нет ничего ужаснее войны, а если она справедливая, священная, то и забирает самых лучших.

Я должен был остановить Иннокентия, встать у него на пути, неподъёмной гирей повиснуть на его ногах, ведь он отдал свой воинский долг ещё в Сирии, когда был серьёзно ранен. А я не сказал ему ни слова, знал, что не услышит меня.

Слишком поздно. Всё было предопределено ещё в то время, когда он осознал своё предназначение быть вождём эвенов. А значит, для него народ уже тогда стал важнее семьи.

## Часть четвёртая

# *«Ты Иннокентьевич был?»*

...И вот конь белый, на нём всадник...
и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

*6—2, Откровение, 96 г.*

### *1*

«Я должен рассказать о своём лучшем друге — это известный на весь район Иван Окольчишин. Он тоже из Эссо, его все звали Полтора Ивана за высокий рост и широкие плечи. После школы его не взяли в армию, он обиделся, запил водку, стал драчливым, будто хотел помериться силой со всяким, кто сомневался в его способности защитить себя и тех, кто в этом нуждается.

Он всегда заступался за кого-нибудь, в одиночку бился за правое дело и чуть не угодил в тюрьму за драку с важными туристами из Города на дискотеке возле центрального бассейна. Один из них оказался помощником депутата заксобрания края и сыном “авторитета”, разбогатевшего на легальном экспорте нерки, а второй — гендиректором финансовой и риэлторской компании, поднявшейся на *прихватизации* рыбацких и сельскохозяйственных предприятий.

Мне пришлось вмешаться, так как местная полиция просто трухнула, и уговорить этого помощника забрать заявление, иначе девушка-официантка, к которой он приставал, напишет встречное и обвинит его в попытке изнасилования, а в свидетелях недостатка не будет. Он вынужден был согласиться, но, подонок, добился через краевое МЧС, чтобы Ивана “попросили” из пожарного депо, где он работал водителем.

А когда началась война, Иван первым пришёл ко мне в военкомат и попросился на фронт. В детстве он переболел туберкулёзом, потому и не был годен к службе в мирное время, но ситуация изменилась, и медики разрешили подписать с ним контракт. Я определил его во флотскую учебку во Владивостоке. Потом командование меня отпустило на СВО как имеющего боевой опыт, и там через полгода мы с ним встретились, он был водителем на бронемашине, я его взял в разведроту. Мы с ним частенько вдвоём ходили через линию фронта, я знал, что он не проболтается, потому что мне, как комбату, это не очень положено — не только потому, что мог погибнуть, главное — мог попасть в плен.

Разведка похожа на охоту, надо быть осторожным, много и легко передвигаться, уметь обращаться с ножом, хорошо знать боевое самбо и метко быстро стрелять с глушителем. Многому меня ещё в детстве научил мой отец, Степан Ильич.

В разведке адреналина даже больше, чем на охоте за злобным хищником: постоянное чувство опасности, близость хорошо вооружённого и многочисленного противника, и ты должен перехитрить его, захватить в плен и притащить в штаб. Всё это делало походы за линию фронта незабываемыми, и ты потом уже не мог устоять, чтобы вновь и вновь не переживать это ночное смертельно опасное приключение.

Без разведки на войне нельзя, надо точно знать, кто там напротив тебя, сколько бойцов, какие у него и где орудия и танки и что он замышляет. Да и линии фронта как таковой нет, она постоянно меняется, и без разведки об этом не узнаешь, а если и узнаешь, то слишком поздно.

Я передавал координаты по рации нашей артиллерии и авиации, и они успешно выбивали вражеских бойцов, командные пункты и технику. Враги узнали наши позывные, мой был Эссо, а у Ивана — Анавгай, и стали охотиться за нами: подсылали снайперов, дроны, били из миномётов. Тогда я позвонил нашему военкому, который пришёл вместо меня, попросил направить к нашим артиллеристам добровольца-корректировщика из Эссо или Анавгая, знающего эвенский. И он прислал воспитателя-математика из интерната, он до сих пор на войне, позывной его Ата, не знаю, почему он решил зваться бабушкой, может быть, ради краткости.

Наша последняя вылазка была за Новопокровку, недалеко от железной дороги, по ней, говорили, ещё недавно бегали электрички, село было с журавлём на окраине, — это такой колодец с высоким длинным коромыслом. Мы прокрались по сосняку, увидели на подходе грузовики с бойцами, танки и бронемашины, готовые к бою французские пушки и почти триста бандеровцев, поляков и других хорошо обученных наёмников, мы передали Ате их координаты и стали отходить. Со всех ног бежали в Новопокровку, чтобы предупредить ополченцев и бойцов народной милиции, там стоявших. Это означало, что бандеровцы идут бронеклином прямиком на наши позиции — туда, где их не ждут. И тут наша артиллерия обрушилась на врага, мы успели скорректировать огонь и оказались в самом аду: по нам били бандеровцы, которые решили, что мы стреляем по ним из Новопокровки, зацепили краем и наши.

Прилетели вертолёты и перепахали зелёнку, в которой успели окопаться фашисты, но техника противника укрылась в боковой берёзовой рощице, примыкавшей к дороге. Я дал по рации команду нашим выдвигаться, скорректировал огонь артиллерии, минут через пятнадцать-двадцать к нам примчалась на броневиках и “буханке” почти вся разведрота с замполитом. К этому времени противник пришёл в себя, ударил из лесополосы и пошёл при поддержке своих миномётов на нас: танки, БТРы, но не в лоб, а обходя по флангам, по краю леса, с юга и с севера. Мы заняли несколько кирпичных полуразрушенных домов на краю села и большой бетонный то ли склад, то ли бывшие мастерские. Враг подошёл совсем близко, по нам стали бить из миномётов, пробили плиты перекрытия над ополченцами, завалили их. Я послал Ивана к ним, а сам вместе с замполитом продолжил отстреливаться, подбили из ПТУРов несколько броневиков, танк и самоходку, одновременно я брал бинокль и корректировал огонь наших гаубиц и “Градов”».

И тут в окна влетели одна за другой две мины. Меня отшвырнуло на середину склада, сильно ударился грудью, потерял сознание. Когда очнулся, увидел смутно, что Иван вытащил из завала замполита, он был в крови, мина, должно быть, ударила рядом с ним, и его посекло осколками, — мёртвый, он продолжал держать РПГ, не отпускал. Я поднял руку, подал голос, и хотя всё вокруг было затянуто дымом и висела плотным облаком белая пыль, Иван увидел меня, откопал, я ухватился за него, но идти не смог, что-то было с ногой, Иван взял меня на закорки, и мы выбрались наружу, за склад. Там сидели на коленях, пригибаясь до земли от взрывов мин несколько наших и ополченцы,

почему-то врезалось в память: один пожилой, в глубоких морщинах на чёрном лице, а другой молодой, гладкий и новенький, даже пыль и грязь к нему не пристала, его сын, — всего человек пять, все раненые, перетянутые жгутами и бинтами, на траве лежали ещё пятеро — живые, но со страшными ранами, без глаза, без лица, с дырой в плече, из которой был виден край розового живого лёгкого, в пыли и крови, стонали, а один, без ноги, то выл, то плакал. У всех закончился боекомплект, только несколько гранат осталось. Для себя, сказали.

Я связался с «бабушкой», сообщил координаты и добавил: Ата, земляк, вызываю огонь на себя. Приказал своим людям отходить, они переглянулись и сказали: нет, мы как ты, комбат. И тут, прямо за их спинами, встала чёрным широким веером земля, и всех нас разметала мина, перелетевшая мастерские, а потом, сразу же, ещё не упали клочья травы и грязи, в нескольких метрах — снаряд.

Маленький, меньше сантиметра осколок попал мне в сердце. Мне кажется, я не потерял сознание, временами я всё видел и чувствовал, только почти оглох и не мог говорить.

Иван, его ранило в ногу, перебинтовался, сделал волокушу из тента — не знаю, где взял, и, опираясь на палку, потащил. Он не знал, жив я или нет, видел, что пробило грудь, перетянул меня бинтом, хотя крови было мало — раскалённый осколок, вошедший в меня, спаял кровеносные сосуды, рану в сердце, Иван не хотел думать, что я умер, и тащил из-под огня, посреди разрывов, мёртвыми деревьями поднимавшимися вокруг, изо всех сил, не оглядываясь, повторяя только: комбат, свои не убьют, комбат...

А я не мог ему ответить, потому что не в силах был шевельнуть языком, да и даже не пытался, я знал, что у меня пробито сердце, я умер, и это всё уже происходит в какой-то другой жизни, после смерти, только похожей на прежнюю. Мне показывают зачем-то, как меня волокут через зелёное тихое поле, и сквозь пальцы скользит шелковистая в росе трава, и я вижу над собой край рассвета.

А ещё я видел жену в белом платке, покрывавшем её склонённую голову и плечи, а Максим сидел у неё на коленях, как всегда сердитый, молча тянул куда-то руку... И потом, когда в госпитале мне монашка-медсестра подарила по случаю моего чудесного спасения деревянную икону, сказав, что это Богоматерь для сирот, я увидел на ней женщину с ребёнком в таком же, белом с перламутром, покрывавшем её платке...

Я без надежды обещал им тогда, в поле: вы больше никогда не будете одни. Я понял, что всем своим пробитым сердцем ненавижу войну, убившую меня, и хочу, чтобы все люди на земле так же её ненавидели, и тогда она никогда не встанет между ними.

Потом прилетел коптер, стал жужжать над нами, зависая, ныряя на нас и снова жаворонком взмывая в высокое небо, и Иван орал на него матом, грозил ему большим своим кулаком, а потом встал на колени, заслонил меня, и когда дрон снова близко завис над нами, упал на спину рядом и ударил по нему густой бесконечной очередью, осыпая меня горячими гильзами, и дрон вдруг косо соскользнул куда-то и затих.

Почти сразу за этим — перелётом — упала мина, за ней другая — недолётом, земля снова поднялась двумя чёрными огромными деревьями и не падала, всё остановилось, третья должна была упасть на нас и взорваться,

но так и не прилетела, а Иван лежал на мне, втянув голову, заслонив её правой, с автоматом, рукой.

«Бабушка» хорошо нацелил наших, и они накрыли всех этих нацистских миномётчиков.

Иван волок меня, прихрамывая, по мокрой траве, как по камчатскому снегу, до наших, уже бежавших к нам, и не сразу отдал им волокушу, только когда они потащили меня в “Рысь”.

Отдал и осел на подкосившиеся разом ноги.

Он потерял два литра крови, и это было чудо, что не только оставался в сознании, но и нашёл в себе силы тащить меня — обычный человек в таком состоянии не способен даже просто поднять голову».

## *2*

Мы быстро дошли до охотничьей избушки, гораздо быстрее, чем говорил деда, ещё до темноты. Потому что мы не шли, а бежали.

И всё это время Айна чуяла зверя. Она поднимала голову, ловила его запах, иногда громко грозно лаяла и даже рычала — предупреждала: уходи, мы знаем, ты идёшь за нами. Иногда она теряла запах и возвращалась назад, даже убегала с Тропы, нюхала землю, траву и кусты. Отбегала и лаяла где-то очень далеко, почти неслышная. Это *Апача* уходил в сторону и делал круг.

Айна не давала ему догнать нас. И, думаю, он — подранок, потому что не так хорошо бегает. И поэтому очень опасный, голодный. Настоящий Зверь. Только раз она подпустила его близко, лаяла долго, до хрипа, кидалась и теснила нас вперёд, заставила Ваську снова перейти на рысь.

Дров под навесом не было, наверное, чужие люди, браконьеры, их сожгли, ничего не оставили. Пришлось запрячь Ваську. Он не хотел тащить сучковатый *дывэд* — три перемотанных альпинистским шнуром высохших дерева, — стоял не шевелясь, даже отошёл назад, поднял белый ягель. Айна залаяла на него, стала хватать за ноги, и Васька, упираясь копытами, сдвинул *дывэд* и потащил к домику. И так несколько раз. Потом сгоняли за сухими ветками, валежником и берестой. Айна снова пошла с нами, забежала вперёд, принюхивалась, лаяла, но не зло — весело, звонко, и её слышно было далеко, по всему лесу. Я сделал последние четыре вязанки из валежника, закинул по две на Ваську, и мы вернулись к избе.

Айна вдруг сорвалась с места и, так же звонко лая, побежала вдоль высокого берега, меж старых берёз и кустов шиповника. Впереди неё катились, обгоняя друг друга, два коричневых шара, это были медвежата, родившиеся этой зимой. И я закричал: *А ну ушли, а ну ушли!* Так делал на рыбалке папа, отгоняя любопытных малышей за высокий берег, чтобы Айна не догнала их и не напугала.

Изба стояла почти на краю редкого старого леса, возле поляны. В высоком с берёзками и *имукэтом* берегу были вырублены ступеньки — ещё прадедом Ильёй Иннокентьевичем. И он первый выложил их берёзовыми поленьями, приделал перила из жердей. Его чурбачки, разрубленные пополам, и стойки жердей давно сгнили, вместо них были другие, сначала заготовленные Ильичом, а потом папой. Когда сгниют и эти, то будет моя очередь ремонтировать лестницу, — так сказал деда.

Я побоялся, что Айна, играя, убежит за медвежатами слишком далеко, и на неё нападёт медведица, подал индейский клич, но она сама быстро вернулась, и не по верху, а по воде — мокрая; наверное, стояла на течении под берегом, пила, остывала. Не знаю, почему она в этот раз не погнала малышей, ведь они будут ходить рядом, а медведица заляжет в лесу, за поляной, тоже близко, чтобы защитить, или выйдет на косу ловить рыбу для них.

Эта медведица, говорил папа, нам не чужая, она потомок тех, кто жил здесь ещё до прихода эвенов, и наши запахи им знакомы с детства.

Здесь очень удобное для ловли место: длинная широкая загнутая галечная коса, бурлящий до противоположного берега перекат с двумя огромными чёрными вулканическими глыбами, одна за другой, посредине, и неглубокая, но просторная заводина-нерестилище с обратным течением и песчано-галечным дном, там иногда купался папа. И то, что люди построили рядом избу и часто живут в ней, нашим медведям не мешает, напротив, отпугивает пришлых зверей.

Деда рассказывал, что Илья Иннокентьевич выкормил здесь, ещё шестьдесят лет назад, медведицу — брата её и мать убили охотники, потому что они совсем перестали бояться людей. А малышка была пугливая с самого рождения, но к избе тоже привыкла, и прадед стал отгонять её, чтобы она не подходила к нему на выстрел. Еду — рыбу — он оставлял ей на косе, а осенью и весной — на льду, и отпугивал других косолапых, если они пытались занять эту территорию.

Весной, в апреле 1959 года, на прадеда напал медведь-подранок, ударил его лапой в ухо, когда он ставил капкан на соболя в лесу, поляны тогда не было, и потащил в чащу. Илью Иннокентьевича спасла та самая медведица. За пять лет она выросла на «кормном месте» в огромного, почти трёхметрового зверя, напала на этого самца — у неё были медвежата — и задрала насмерть.

Илья Иннокентьевич очнулся, когда она притащила его к избе и стала фыркать на него, облизывать и ворочать лапой. Во второй раз он очнулся от холода, уже в избе, на полу, должно быть, как-то заполз, но дверь закрыть сил не хватило. Или потерял сознание. Кое-как растопил печь, сварил кашу и ел её два дня. На третий выполз из избы и увидел возле навеса мёртвого подранка и медведицу с медвежатами. Она сразу увела детёнышей в лес.

Дед натопил медвежьего жира, вырезал желчный пузырь, отрезал и съел лапы. Так, вчетвером, они ели медведя почти полторы недели. Илья Иннокентьевич разбавлял самогоном и пил жёлчь, мазался на ночь жиром. На этом же жиру жарил потроха и кровь. Потом спасители его ушли вниз, к устьям, ловить красницу. А дед к тому времени почти выздоровел, даже голова перестала болеть и кружиться, рваная рана над ухом зажила, только волосы на этом месте перестали расти. И он совершенно оглох на правое ухо.

Голову медведя дед выварил и закрепил на вершинке молодой берёзки глазницами на восток, чтобы его в другой жизни слепило солнце, не давало охотиться на людей. Берёзка выросла в большой *дывэд*, а голову на ней видел даже папа, когда был маленьким, потом она куда-то пропала... то дерево стоит до сих пор за избой, и никто его не трогает на дрова.

Решил наловить медвежатам рыбы — они так смешно и дружно наблюдали за мной сверху, когда я спустился за водой: один, с белым пятном на груди, держался лапкой за дерево, а второй просто стоял рядом с ним, готовый

откатиться в лес. И в этот раз Айна не погнала их. Должно быть, мать была недалеко.

До темноты поймал им штук двадцать горбуш и кетин на серебристую колебалку, разбросал на косе, пусть думают, что рыба сама выпрыгнула из воды. Хватит и медведице, да и отдохнёт сегодня от рыбалки.

На ночь я развёл эвенский костёр: подтащил к колоде возле старого кострища, она служила скамьёй, стволы мёртвых *дывэдов*, сложил их поперёк толстыми концами, тесно выдвинул в сторону избы, а тонкие концы, наоборот, раздвинул веером, чтобы не горели зря. Перед колодой, вплотную, сложил костёр из бересты и валежника. Когда совсем стемнело, поджёг. Вскоре загорелись и концы выдвинутых над огнём *дывэдов*. Положил поперёк них сверху валежину, и когда она тоже загорелась, поставил чайник — закопчённую литровую банку из-под яблочного повидла.

Айне скормил кашу с тушёнкой, она съела всё и вылизала стальную миску — вот что значит целый день бегать, дома она обычно кашу не доедает.

Айна вдруг грозно залаяла в темноту, не туда, где скрылись медвежата, а в сторону Тропы, откуда мы пришли. Васька подошёл к нам, захоркал. Я завёл его в избу, пришлось голову ему повернуть на сторону, чтобы рога прошли, и дал травы, но он есть не стал, стоял в углу, склонил голову, чтобы ничего не зацепить, и вздрагивал спиной, стучал копытом.

Айна убежала в темноту и лаяла так громко и грозно, как будто там стояла стая дворняг. Посветил фонариком в её сторону, но никого не увидел и позвал индейским кличем. Айна прибежала сразу, будто выросла из-под земли, я даже не понял, с какой стороны, похоже, она сделала большой круг вокруг поляны. Взял её за ошейник, в другую руку — чайник и отвёл в избу.

Мне очень не хотелось возвращаться одному к костру, боялся, что Айна вырвется и убежит к Зверю, погибнет. Потом я подумал, что папа смотрит сверху, и вышел без неё.

Под навесом что-то треснуло, я не сразу понял, что наступил на сухую ветку — замер, зажмурился, от страха похолодело в груди — и я услышал позади себя кого-то огромного, тяжёлого, кто поджидал меня, и в несколько прыжков оказался у костра, оглянулся, но никого не увидел. От облегчения сразу стало пусто и весело в голове, выхватил несколько толстых валежин, подкинул в костёр и сверху на *дывэд*, пламя поднялось, осветило поляну до леса, и мне снова показалось, что кто-то огромной тенью отпрыгнул за деревья, к Тропе. Сверкнули в темноте два страшных круглых маленьких зеркальца.

Боясь смотреть в сторону леса, продвинул по колоде *дывэд*, навалил сверху ещё два, и попятился к избе. Задом, водя перед собой фонарём, заскочил в избу и задвинул широкую железную щеколду. Вздохнул глубоко, оказывается, я забыл дышать. И увидел на столе котелок. Захотелось есть, достал чипсы из рюкзака, упаковка зашуршала, когда разрывал её, и это меня разом успокоило, как будто я уже дома. Съел всю пачку, потом конфеты, потом чай вприкуску с вафлями... Подошла Айна, попросила конфету, но я не дал, от сладкого у неё течёт левый глаз.

Костёр должен гореть как можно дольше, тогда звери не станут хозяйничать на поляне: рыть ямы, оставлять метки, искать еду и спрятанную на холодке рыбу. В прошлом году я видел ночью, в свете фонарика, как на столе стояла

чёрная с рыжими подпалинами росомаха и сверкала своими круглыми белыми глазками.

И Зверь, пока будет гореть костёр, из леса не выйдет.

В избушке, и особенно на столе, было много старого мусора, каких-то жирных бумажек, мышиной чёрной крупы. Я нашёл веник из берёзовых веток и подмёл, как это всегда делал Ильич, — сначала со стола, потом с нар и пола. Поднял пыль, Айна стала чихать, а Васька улёгся в углу, подвернул зад, невнимательно пощипывал траву и ягель. Временами замирал, шевелил ухом, поднимал голову, почти упираясь рогами в потолок.

В избе Айна сразу успокоилась, легла на нары, положила морду на лапы и всем своим видом говорила: я теперь за поляну, лес и реку не отвечаю, пусть даже все лесные звери вокруг соберутся, буду спать, вот если кто-нибудь подойдёт совсем близко и толкнётся в окно или дверь, тогда посмотрим... Так же она ведёт себя и в машине, сразу же укладываясь спать.

А если её оставить снаружи, она встанет на охрану и будет бродить вокруг всю ночь, убегать в лес, на берег и лаять, не даст толком поспать.

Я размотал керемат, вспомнил, что Иван называет его почему-то пенкой, а в магазине на нём пишут *каремат*, это английское слово, сказала мама, надо говорить «керемат». Я расправил спальник и лёг примериться в одежде, ботинках. Вместо подушки придвинул свой твёрдый школьный ранец. Было удобно. И душно от крыши, её нагрело солнцем за день, надо менять мох на чердаке, говорил папа.

Я вспомнил, как мы с мамой ездили в Город в психушку за справкой о моём здоровье, её требовала учительница, ей не нравится, что я ничего не делаю во время контрольных, и я слышал, как она говорила завучу, что у меня ЗПР и она за это должна получать доплату. ЗПР — это значит задержка психического развития, объяснила мама, например, синдром Аспергера, как у меня. Мама сказала, что справку надо обязательно взять, может, Светлана Сергеевна подобреет от прибавки.

Учительница меня не любит, никогда не спросит, когда я поднимаю руку, но спрашивает, когда я не поднимаю, чтобы поставить двойку, и я теперь не отвечаю, даже если знаю. Она вообще никого не любит, кроме своей дочки и отличников, кричит на всех, называет бестолочью. Я школу ненавижу.

Светлана Сергеевна приехала с Украины, мама говорила папе, что её там сильно обижали, хотели посадить в тюрьму, и поэтому у неё самой «нестабильная психика» и она «имеет манеру чуть что жаловаться в прокуратуру». Мама просила папу поговорить с учительницей, он должен сказать ей, «как отец, как участник СВО, наконец», чтобы она не цеплялась ко мне и другим эвенским детям, не была такой стервой, ведь у меня всё-таки Аспергер, со мной надо по-хорошему. А папа считает, что это мама должна с ней говорить, как коллега. А мама не может, она начальник районо, и это будет «злоупотребление служебным положением». А папа ругается, что «они с директором школы не могут договориться с простой учительницей, нельзя быть такими беспомощными, а он всего лишь солдат и с женщинами не воюет, тем более с Украины, которая не знает местных национальных особенностей».

Я спросил у психиатра, как её зовут и когда родилась. Она подняла длинную бровь и ответила неохотно: Лидия Ивановна Костылёва, 28 августа 1973 года рождения. И спросила сразу: а что значит выражение «волчий

аппетит»? Я засмеялся и сказал: как у волка. А золотые руки? Я сказал, что рук из золота не бывает. Тогда она спросила: если тебе нужны три тетради по семь рублей, сколько у тебя должно быть денег? А я не мог ответить, потому что никак не мог перестать думать о золотых руках.

Лидия Ивановна сказала маме, что «у неё нет полномочий ставить Аспергера», дала нам справку с диагнозом ЗПР и предупредила: школа должна теперь предоставить мне бесплатного *тьютера*, тем более что мы живём в национальном районе, где у многих детей есть особенности в психическом развитии, и *тьютер* не будет давать мне бездельничать на уроках, и зачем-то мне подмигнула. А мама очень расстроилась, стала хвастать, что я помню все известные даты и столицы мира, дни рождения великих писателей и политиков, сразу запоминаю и не забываю любые слова на любом языке. А я не помню, например, когда была французская революция, всё забываю спросить у Алисы. А в России она случилась 7 ноября 1917 года, когда родился мой прадед Илья Иннокентьевич.

Перед тем как заснуть, я потушил свечку, чтобы не отсвечивало, и посмотрел в окошко на костёр. Горели все четыре брёвнышка, и схватился, дышал и мигал жёлтыми углями плоский бок берёзовой толстой колоды. Но в нескольких метрах стояла такая темнота, что не видно было даже деревьев и неба. Ночью надо будет встать и сдвинуть *дывэд*, иначе он прогорит и упадёт с другой стороны колоды. Если просплю, огонь погаснет.

И придёт Зверь.

Чёрный, с плоскими горящими глазами.

Нащупал ружьё, заряженное тяжёлыми круглыми пулями, и придвинул к себе. Я помогал деду катать их на сковородке.

Я обязательно дойду до стойбища, передам записку от деда дяде Саше. Он поднимет по рации эвенов и вызовет вертолёт с морской пехотой, папиными лучшими друзьями. И поскачут на помощь, и все вместе *порвут* этих бандитов. И деда будет рад за меня, что справился, не испугался, дошёл.

Мама стояла под елью и махала рукой, белый с перламутром платок сполз ей на локоть...

## *3*

В избе кто-то ревел, как гудок лесовоза. Лаяла и рычала Айна. Что-то упало и зазвенело. Я тоже закричал изо всех сил и включил фонарь.

Медведь выдавил стекло, просунул лапу и шарил ею по столу, подцепил когтем и сорвал клеёнку. Ему не давала пролезть в избу тонкая перекладина, и он почему-то только касался её своим огромным медвежьим плечом, но не ломал, ревел и загребал лапой. Айна упиралась передними лапами в край стола и кидалась на медведя, несколько раз успела цапнуть, вырвала кусок шкуры. Лицо у неё было в крови. Медведь рванулся к ней, перекладина отлетела вместе со вторым пластиковым стеклом, но одно плечо застряло в узком окне, и Зверь схватился обеими лапами за стол и вырвал его, кинул в потолок, потом стал протискиваться в избу, извиваясь всем телом. Я дёрнул в сторону щеколду и выбежал на поляну, к тлевшему костру. Уже светало.

Мне ужасно хотелось бежать дальше, но я увидел, что Васька не пошёл за мной, остался в избушке, а Айна выскочила наружу, подбежала к окну, рвёт

медведя сзади за лапу — он уже наполовину был в избе. Мне так хотелось бежать дальше, что я не мог остановиться и бежал на месте. В руках у меня был мой школьный ранец, а я думал, что ружьё. Ружьё осталось на нарах!

Вспомнил, что в рюкзаке у меня лежит фальшфейер, на самом дне. Я вытряхнул всё, схватил фальшфейер, открутил пробку, выпало кольцо на шнурке, я дёрнул, он сначала шипел, брызгался искрами, как будто злился, потом вырвалось пламя, свирепое, огромное, как джин, и я снова заорал, заскочил в избу и стал тыкать им в разинутую жёлтую пасть, прямо в огромные жёлтые клыки, и тут меня накрыло, я упал, кричал, бился о доски. Айна, вся в крови, вернулась тоже, подскочила ко мне и стала лизать в лицо. И тут я увидел, что Зверь в одно мгновение исчез из окна вместе с фальшфейером, будто его кто-то вырвал, как пробку из бутылки. Айна выпрыгнула за ним, и вдруг сильно, так сильно, что у меня похолодело в груди, коротко заскулила.

Я вышел из избы, потому что ещё не мог бежать от слабости, и увидел огромную медведицу. Она боролась со Зверем, который был меньше её, но не поддавался, крепко стоял на задних лапах, упирался, хотя медведица толкала его изо всех сил.

И он таки не устоял, развернулся, упал на четыре лапы и побежал боком, медведица как-то вся затряслась, шкура на ней пошла толстыми волнами и догнала его в один прыжок, навалилась, схватила сверху поперёк всей страшной пастью за шею и рванула так, что захрустели кости, и он сразу обмяк, замер. Медведица мотнула несколько раз головой, встряхивая его, потом выпустила, сильно злобно толкнула лапой так, что он перевернулся на бок, неподвижный, как мешок с картошкой. Медведица ткнула его носом, фыркнула, встала, сделала несколько шагов, виляя тяжёлой жопой, упала на передние лапы и, оглядываясь на меня, мой бесполезный уже фонарик, пошла к краю поляны, где стоя жались друг к другу двое испуганных, взъерошенных, мокрых от росы медвежат. Один был с белым пятном на груди, лапой он прижимал к себе второго, а другой неуклюже взмахивал перед собой, будто отбивался.

Я смотрел на них, пока те не скрылись в лесу, в низком густом утреннем тумане.

Айны нигде не было, я позвал её индейским кличем, но она впервые не пришла, и я вспомнил, что последний раз видел её, когда она прыгнула в окно за медведем.

Она лежала в высокой примятой траве, на боку, в крови, и тяжело часто дышала. Я позвал её, она только слегка, почти незаметно, шевельнулась, кровь была и на земле, просочилась... И тут увидел на ней ошейник, и снова у меня похолодело в груди: я должен был снять его, чтобы медведь не подцепил когтем и она могла отскочить, так меня всегда предупреждал Ильич, а я забыл, и из-за меня пострадала Айна! Я закричал изо всех сил, приподнял Айну и увидел, что у неё от шеи и почти до глаза вырвана шкура. Она повисла большим кровавым толстым лоскутом, и я понял, что моего лучшего друга из-за меня ударил медведь.

Одной рукой поправил, приложил к голове вырванный кусок шкуры, чтобы не видеть огромной голой раны, снял с себя рубашку и постелил Айне под голову.

У меня в сумине была запасная автомобильная аптечка с бинтом и перекисью водорода, которой мама всегда обрабатывала мне ранки, чтобы

не случилось заражения. Мне было очень страшно снова увидеть открытую рану, кровавое живое мясо Айны, и я даже закрыл глаза, но понял, что с закрытыми глазами не смогу ничего сделать, тогда просто прищурился и залил перекисью сначала рану, а потом лоскут, и снова приложил его. Меня чуть не стошнило от кроваво-белой пены, которая сползла мне на руку. В аптечке нашёлся лейкопластырь и ножницы, и я подумал, что можно будет приклеить оторванный кусок шкуры, чтобы он не сдвинулся, когда буду бинтовать.

Нарезал ножницами полоски пластыря и хотел наклеить прямо на шерсть, но вспомнил, что, когда Айне вырезали опухоль на ноге, хирург, Игорь Владимирович Дорощенко, 15 апреля 1970 года рождения, выстриг всю шерсть вокруг. Я выстриг только там, куда приклеил потом пластырь.

Я плотно обмотал бинтом шею и голову Айны, но он сразу промок от крови, и я забинтовал ещё раз, приклеил кончик пластырем. И потом обмотал своей рубашкой, стянул рукавами. У меня получилось ровно заклеить и перебинтовать рану! Не зря так долго учился в интернете делать из пластилина детей-монстров — пальцы мои трудились сами собой, как будто давили смесь и лепили разноцветные фигурки.

Васька спокойно стоял в дверях — зацепился рогами и не хотел думать, как освободить голову, ждал, когда помогу ему.

Я закинул на него перемётную сумину, подтянул ремни покороче — Айне на ней будет удобнее лежать, потом попросил Ваську, чтобы он лёг и затащил на него Айну. Когда он встал, стянул шнуром через свободную петлю передние ноги своего раненого в бою друга, потом пропустил под животом Васьки и связал задние. Теперь Айна может съехать вниз, под живот оленю, или на бок, но уже не упадёт, не ударится, и рана не откроется, и она не умрёт от кровотечения.

Ружьё я закинул за спину, поверх рюкзака, и Васька сразу же побежал.

Деда говорил мне, что у каждого эвена есть два существа, два друга, их дарят ему в год рождения, души которых, *ханин,* связаны с твоей. И если кому-то из них плохо, то будет больно и тебе, и ты должен его спасти или вылечить, иначе тоже можешь погибнуть.

Это Айна и Васька. И помочь нам может очень сильный шаман с двенадцатого неба — *Марха*. Есть ещё обыкновенные шаманы, с девятого и седьмого неба, *Эбикээ* и *Ичээн*, но они не смогут подняться к началу небесной реки, где растёт наше родовое древо, на ветвях его обитают души живых родственников — *оми* — и нерождённых детей в виде синичек. Но ещё ты сам можешь дойти, если преодолеешь себя, потому что, сказал деда, у каждого человека, как и у шамана, есть своя дорога к верховному Богу *Хэвки*, своя судьба — *оони*, и он даст тебе Силу, забыл как по-эвенски, спасти Айну.

У неё непростое имя, его придумал деда, он сократил эвенское слово *айинна*, что значит Природа, оно стало похоже на имя удивительного народа айны. Получилось очень сильное слово, существо с таким именем просто так не сломить, сказал деда.

Наше родовое древо корнями уходит в нижний подземный мир, где обитают умершие предки, туда я и должен сопровождать папу, сказал деда. Туда течёт с двенадцатого неба река, путь этот по воде, потому я должен высыпать пепел в нашу Кичу.

Деда сказал, что эвены уже четыреста лет православные, и Христос наш бог тоже, но мы не должны забывать свои корни, своих шаманов. Поэтому папа и завещал не хоронить его, а сжечь. Все мы — *перерожденцы,* сказал деда, те, в ком возродилась душа — *ханин* — тех, кто был до нас.

Папа рассказал, как деда спрашивал меня, когда я был ребёнком и только начал говорить: *Ты Иннокентьевич был?* Потому что малышей об этом могут расспрашивать только старики. И именно этими словами: *Ты такой-то был?*

А я в ответ заплакал. И теперь никто не знает, я — *реинкарнация* прадеда или кого-то ещё. Папа думает, что, похоже, я и есть Илья Иннокентьевич, крещёный шаман двенадцатого неба, потому что плачу по той трудной жизни, которая была и которая мне снова предстоит.

Мой прадед был последним эвеном из тех, кто пошёл против власти и не отдал свои святыни и своих оленей — их у него забрали в совхоз только в 1962 году, — у него было больше тысячи, три стада.

Он прятался с ними в тайге и отрогах Срединного хребта, и когда их увидели с вертолёта, осталось восемьсот, но самых крупных. Его долго уговаривали, угрожали, что заберут, потому что он укрыл оленей от советского государства, где всё общее, потом пообещали хороший дом в Эссо и безбедную старость, но обманули, дали развалюху, забрали детей в интернат, а пенсию в 1992 году уменьшили в десять раз.

Может быть, папа прав, потому что мне часто снятся узкие тропы на краю пропасти в снежных горах, зелёные трещины в леднике, куда падают, ударяются о стенки копытами мои олени, потом мы скачем на зелёные склоны по волнам мягкой травы, и я жгу костёр в узкой тёмной пещере... и рядом со мной мой лучший друг...

Была половина шестого утра по навигатору. Деда сказал, что мы должны прийти в стойбище, *край, в половине четвёртого,* но мы выехали на два с половиной часа раньше. У меня с вычитанием значительно хуже, чем со сложением, но я почему-то сразу понял, что мы будем на месте в половине второго, если не останавливаться.

Я отпустил поводья, потому что мне нужно держать Айну — она стала сползать под Ваську. Наш олень побежал слишком быстро, и я придвинул её и держал, прижимая к себе двумя руками.

Через два часа Айна стала шевелить головой и дёргать задними ногами, я остановился, вдруг она захочет пить. У меня была бутылка с водой — налил её вместо сладкой газировки, — отлил в миску. Айна несколько раз лизнула, но пить не стала. Наверное, она только пришла в себя и не понимала, почему вокруг темно, ведь я перебинтовал ей и глаза, и почему у неё связаны ноги. И хотя руки у меня стали деревянными оттого, что держал её, и дрожали, я погладил Айну и сказал: *Не волнуйся, это я сделал, всё будет хорошо, мой лучший друг, мы скоро придём в стойбище, и дядя Саша тебя вылечит...*

Когда дядя Саша ушёл из школы работать в стойбище, он на год уезжал в Хабаровск на ветеринарные курсы. Олени, как люди и собаки, иногда болеют, и вызывать к ним врача за двести километров «накладно и долго», можно не успеть, вот он и научился лечить их, делать прививки и даже принимать «сложные роды», и теперь его приглашают в другие стойбища и прозвали Оленным Доктором, не зря же он сын и внук шамана. И у него есть кожаная сумина с инструментами и лекарствами, и он обязательно спасёт моего друга.

А если Васька устанет и ляжет, я сделаю волокушу и буду тащить, пока хватит сил, и даже если они кончатся, я не брошу моего лучшего друга и буду просить Богоматерь и *Хэвки* дать мне «м*о*чи» и потащу через силу, как дядя Иван моего папу.

Я предложил воды Ваське, и он её выпил, а потом ещё две миски. Дал ему ягеля и травы, он немного поел и снова побежал, хотя я не просил его об этом.

Дядя Саша всегда хвалил Ваську, передавал от него приветы и говорил, что у него «хорошая кровь», его мать всегда возила *бэбэ* — колыбельку, а его отец был самым сильным в стаде, и когда кочевали на зимнюю стоянку, на нём ехали верхом.

На Ваське ездил только я, когда был на каникулах, и ещё он всегда возил на перекочёвках в чехлах из оранжевой ровдуги и берестяных коробах родовые иконы, их сохранил в своих тридцатилетних таёжных прятках Илья Иннокентьевич: Пресвятой Богородицы, родилась в конце I века до нашей эры — умерла в 48 году нашей эры, и Николая Угодника, 270—351 год нашей эры, покровителя кочевников, и, главное, Евангелие от Матфея, его перевёл на эвенский язык в 1889 священник Стефан Попов, 1877—1949 годы, и отпечатал в Казани в 1892 году, а берестяной оклад резал, вываривал и собирал Ильич в 2000 году. Деда говорит, что Евангелие от Матфея — это правила жизни для всех людей, и тот, кто не следует им, не воскреснет после гибели человечества и будет вечно гореть в атомном аду.

Васька всегда был белым, красивым, очень послушным, умным, и ещё он скучал по мне и Айне. Его второе, эвенское, имя — *Нэнурук* — «перевозящий святыни», ему дали это имя, хотя он не был *посвящённым*. Ему никогда не подпиливали рога, как другим, и они были у него большие и ветвистые, не проходили в дверь. И ещё на кочёвках ему давали *торсук* — суму для перевозки коробочек с душами кочевников семьи.

Деда говорит, что у наших душ есть три части: *хинян* — воздушная, *оми* — мать-душа, и *бзен* — телесная. Первая возвращается в верхний мир, вторая в мир мёртвых, а третья остаётся на месте захоронения.

Какая часть души папы говорит со мной? Или все три? Или душа его ещё жива, и она с нами?

Я просунул ноги под Айну, подтянул её к себе, и она оказалась у меня на коленях, и рукам стало легче держать её.

И мы бежали ещё два часа.

У меня сильно затекла спина, потому что я откидывался назад, так мне было легче удерживать Айну на коленях. Потник под седлом потемнел, от оленя запахло кислым, он задышал часто, хрипло, раздувая и роняя изо рта пену. И я чувствовал, что Васька тоже знает, как Айне больно, и её боль он передавал мне, ведь наши души связаны друг с другом.

А боль — это и есть страдание, сказал деда, но я пока не знаю, что это такое. И наш олень хочет быстрее добраться до дома, в стойбище, где он живёт, где нашему лучшему другу помогут.

Из нас троих только я могу решить, когда ему остановиться, а если его не остановить, он упадёт на скаку и уже не встанет. И я хотел остановить Ваську, но он остановился сам. И он не мог больше ни бежать, ни идти.

Он стоял, опустив голову, бока его раздувались и опадали, а в красивых глазах стояли слёзы. Я тронул его за голову, и он как-то криво опустился

на колени. И когда я снова заглянул, уже близко, в его большие глаза, то увидел в них усталость, боль и ещё что-то, чего я не мог понять, но почувствовал, что наш друг отдал все свои силы и теперь уходит от нас один — куда-то далеко, откуда уже не возвращаются, и если бы он мог, то сказал бы об этом. И мне снова стало холодно, как будто я прикоснулся к чему-то огромному и ледяному. Я погладил Ваську и сказал: *До свидания, друг... теперь моя очередь спасать Айну.*

*Я знаю, как болит палец или голова, но ещё не знаю, как болит и страдает душа,* говорил мне папа.

Я вынул из перемётной сумины свои вещи и накрыл ими Ваську, Айна почти наполовину поместилась в левой сумке, а правую я надрезал по бокам и снизу, надел на Айну, продел штанины вейдерсов в боковые надрезы и связал их на груди моего лучшего друга, в эти же разрезы просунул сложенный вдвое шнур и сделал широкую петлю, обмотал её запасными штанами и майками, чтобы не резало плечи, получилась волокуша с автоматом и ружьём по бокам.

Ранец тоже освободил, оставил только кувшин с папой, патроны, нож, кружку, конфеты и тушёнку. Налил в миску воды для Васьки, вдруг захочет пить. Когда мы уходили, он поднял голову и глубоко вздохнул.

Сначала я попробовал бежать, как Васька, но сумина стала съезжать с травы на землю и тормозить, а по траве она ехала как по снегу. Тогда я сильно наклонился и пошёл на носках, иногда цепляясь пятками за сумку.

Я посчитал: Айна весит чуть больше тридцати килограммов, семь килограммов весят ружьё и автомат, килограмм — сумина, всего — тридцать девять или тридцать восемь, это на семь килограммов тяжелее меня. А муравей тащит груз в двадцать раз тяжелее себя. И я должен справиться: чем я хуже муравья.

Но мне становилось труднее с каждой минутой, и через час пути ноги стали тяжёлыми, волокуша всё чаще скатывалась с травы и останавливала меня, голова вспотела, пот заливал глаза, но стирать его со лба мешала антимоскитная сетка на шляпе, а я знал, что если подниму её, комары сожрут.

Я вспомнил, скоро будет низина и ручей вдоль Тропы с черемшой по берегам, а вода в нём — ледяная. И прибавил шагу, но низины всё не было, я не сразу понял, что одно дело ехать верхом и совершенно другое идти пешком и тащить тяжёлую волокушу, это уже не пять минут, а двадцать пять. И я сказал себе, что через двадцать минут сделаю привал и окуну голову в холодный ручей.

Прошло тридцать минут по навигатору, а мне показалось, все сорок, и вода, когда я сполз в ручей по пояс, была для меня тёплой. И я лежал так, пока она не стала холодной, тогда я набрал её в кружку и полил на нос Айне. Потом схватил пучок черемши и стал жевать, чтобы она стала жечь во рту, ударила в нос и стало легче, но она почему-то не ударила, или я не почувствовал, но всё-таки стало легче.

И так было несколько раз, пока не посмотрел в навигатор и не увидел, что за последний час прошёл расстояние в два раза меньшее, а идти ещё пять километров, то есть три часа. И я перестал спускаться к ручью и шёл не останавливаясь, хотя пот заливал глаза, а тяжёлые ноги заплетались. И когда мне хотелось просто упасть на траву и лежать, я поднимал к глазам навигатор и смотрел, как медленно, почти невидимо движется стрелка... А потом она остановилась совсем, и я понял, что тоже остановился и не могу больше сделать ни шагу.

Я вспомнил, как дядя Иван тащил волокушу с папой, и тоже стал просить Богоматерь дать мне ещё чуть-чуть мочи, всего-то на три километра — уже пахло стойбищем, дымокуром и оленями. Я навалился на шнур, но волокуша уже не двигалась, тогда я изо всех сил дёрнулся вперёд, поскользнулся и упал. Поднимаясь, я оглянулся и вдруг увидел дядю Арсения на Красотке. И тут услышал, как часто бьют тяжёлые копыта, сотрясают сухую твёрдую землю, как бубен. Это из стойбища мчался галопом навстречу дядя Саша, и я протянул к нему руки...

Вчера вечером, когда все чаевали, от костра отвалился уголёк, и моя маленькая двоюродная сестричка Лиза стала его катать палочкой, и мама, тётя Света, Светлана Марковна Кояркова, 28 августа 1994 года, наругала её, потому что этот маленький уголёк показывал на молодого гостя, который едет к ним, а она наваляла его, и он теперь может заболеть.

Так и получилось. По этой примете они ждали меня до обеда, а я не приехал, и дядя Саша помчался встречать меня и нашёл на Тропе больным, с температурой. И я сказал им, что Лиза не виновата, а это я лежал в холодном ручье и немного простудился.

Айна, связанная, лежала у входа в чум, услышала меня и стала дёргать лапами.

Дядя Саша спросил, что случилось, и я рассказал. Дядя Саша похвалил меня и сказал, что перебинтовал Айну, намазал мазью и сделал укол антибиотика, развязывать её не стал, чтобы она не размотала лапами повязку.

Я стал искать записку от деда, но её не было, спросил у дяди Саши, не видел ли он, дядя Саша удивился и ответил, что записку я дал ему ещё в лесу, и они вызвали военный вертолёт и выставили охрану на Тропе, там собралось уже человек тридцать эвенов с карабинами, никого не пропустят. Дядя Саша дал мне таблетку-шипучку, а тётя Света напоила нас с Арсением лечебным иван-чаем с вареньем из княженики. Потом дядя Саша собрался за Васькой, Лиза с Кириллом стали прыгать и кричать у входа — ближе их не подпускали, чтобы они не заразились от меня, — *мы тоже поедем за Васькой,* но их не взяли, и Кирилл заплакал, потому что он у нас плакса. Я попросил детей отойти от Айны, лёг возле неё на шкуру и обнял, она ткнулась носом мне в ладонь, лизнула. И я сразу уснул.

Мне снова приснились горы и пещера, а внизу, под нами, тысяча оленей бьют копытами по снегу, добывают ягель, и когда над ними зависает вертолёт, они поднимают головы, потом срываются с места вниз широкой пёстрой рогатой лавиной по белому склону...

А в пещере мигает костёр.

«В тринадцать лет я решил поступать в суворовское училище, это случилось в апреле 1997 года. Должен сказать, в голове моей на ту пору созрело странное представление, что если у эвенов есть вождь, а им был твой дедушка Степан Ильич, то должен быть и генерал, и им буду я.

Единственное, чего я не понимал тогда, кем был мой дед и твой прадед — Илья Иннокентьевич. И вот, летом я отправился к нему в стойбище на Кичу. И прибыл я туда утром 22 июня, то есть ко дню летнего солнцестояния. Мне не удалось сразу же поговорить с ним, он был окружён нашими родственниками, включая самых отдалённых — троюродных и четвероюродных, — и просто близкими и знакомыми, съехавшимися со всех

стойбищ и рыбалок. В этот день обычно устраивались соревнования — гонки верхом на оленях, по борьбе, — в которых играючи побеждал мой отец, Степан Ильич, и неудивительно, ведь он был мастером спорта и чемпионом Дальнего Востока по самбо. Были всевозможные конкурсы, танцы и даже свадьбы, хороводы, и почти до утра пылал костёр-чум на нашей большой поляне, а когда он прогорал и оставались одни угли, покрытые толстым слоем пепла, через них прыгала молодёжь, включая, конечно, и меня, а потом выходил Илья Иннокентьевич в шаманском облачении из белой и чёрной ровдуги и шаркал босиком по углям, бил в бубен и камлал: он восхвалял верховного бога Хэвки, Иисуса, первого вождя и шамана Эмгени, открывшего путь в Счастливую долину, и других наших великих предков, просил благоденствия нашему народу, много детей, оленей и хорошей путины.

Это продолжалось недолго, его подхватили на руки и унесли в чум, ведь ему уже тогда было восемьдесят лет, и люди боялись, что он может упасть и сгореть.

Илью Иннокентьевича наш народ почитал как великого шамана и хранителя наших христианских святынь, которые сжигали большевики в годы коллективизации, в годы, когда забирали в совхоз наших оленей.

К обеду, когда все спали, я решил проверить, не обжёг ли дед пятки, и нашёл его на берегу Кичи: он курил свою длинную деревянную трубочку и разговаривал с белым Нэнуруком, перевозящим святыни, можно сказать, твоим Васькой — он его перерожденец, праправнук, может, не по крови, но по духу, что для эвенов одно и то же.

Я присел рядом. Дедушка долго молчал, жевал листья подорожника и этой кашицей натирал пятки, потом сказал: *Я тебя позвал, чтобы сказать — ты не станешь генералом.* Я очень удивился, ведь я никому не рассказывал о том, что хочу стать военным. А дедушка продолжил: *Тебя сильно ранят, и ты не пойдёшь воевать.*

*Как же меня ранят, если я не пойду воевать?* ответил я.

*Если ты пойдёшь, тебя ранят, поэтому ты не должен идти тропой воина.*

Я засмеялся и сказал, что *ещё ничего не решил, и вообще, где же меня ранят, если Россия ни с кем не воюет?*

*Я не знаю,* сказал дед, *воюет Россия или нет, в стойбище нет телевизора, но тебя ранят, если пойдёшь учиться на военного. И я позвал тебя сюда, чтобы предупредить.*

*Деда,* сказал я, *ты меня не звал, я сам приехал.*

*Это ты так думаешь,* сказал дед.

Мы долго молчали.

И я увидел слёзы в глазах деда. Я удивился и спросил, почему он плачет.

*Ты меня не слушаешь,* сказал деда, *ты думаешь, что я полуграмотный старик, который верит в духов, который только и делал, что читал одну и ту же книгу. Я не хотел говорить, а теперь скажу: тебя не ранят, а убьют, если ты встанешь на тропу воина.*

*Кто тебе сказал?*

*Ты же знаешь, что эвены читают будущее по углям.*

*И это тебе угли сказали?*

*Не только. Я сначала узнал об этом из священной Книги. В ней есть ответы на все вопросы.*

*Из Евангелия?*

*Там сказано: не думайте, что Я пришёл принести мир на землю, не мир пришёл Я принести, но меч.*

*Но это сказано о человеке по имени Иисус.*

*Это сказано обо всех, кто хочет устроить мир по своему разумению. И тот, кто поднимет меч, от меча и погибнет.*

*Деда, ты не веришь в Бога?*

*Нет, по-прежнему верю, но я пережил и царскую, и большевистскую власть и не верю, что можно переделать этот мир. Он останется таким, каким его создал Хэвки.*

*И что же, Зло победит?*

*Этого не знаю, я только знаю, что ты погибнешь, как погиб Иисус. А я не хочу, чтобы ты погиб. Очень давно твоя бабушка, увидев, что я каждый день читаю священную Книгу, сказала, что от меня родятся люди, которые пойдут вместе с другими — такими же — воевать со Злом, и погибнут сами, и погубят других. И поэтому было бы лучше им не родиться. Я ей не поверил, потому что она родила мне сына. И он ушёл, но вернулся. И до сих пор жив. А вчера он мне сказал, что ты хочешь пойти в суворовское училище и стать генералом. И у него плохое предчувствие. И я вспомнил предсказание бабушки. И я спросил у духов. И угли мне ответили, что если ты встанешь на тропу воина, то погибнешь.*

Он мне никогда прежде не говорил о бабушке, и я подумал, что Илья Иннокентьевич всё это выдумал, чтобы я не уезжал из дома. И я попросил рассказать о ней. Он запел мне родовую песню. Когда я спросил, почему я её никогда не слышал, он ответил, что никогда раньше её не пел, потому что бабушка не только не нашего рода, но она из другой страны, где не бывает снега и дальше них на востоке никого нет, только океан, и потому первым восходит солнце над ними, и они называют свои земли страной Восходящего солнца.

Когда в Счастливую долину пришли большевики, у эвенов стали отнимать оленей и святыни, которые им дали русские. И эвены не считали их русскими, хотя те говорили по-русски, но ведь по-русски тогда говорили многие: коряки, чукчи, ительмены и даже якуты, нивхи и приамурские племена. Эти люди не верили в Бога, не крестились, не были православными, и они отнимали у эвенов не просто оленей, а жизнь. И ещё они пытались отнять у них главное, что дали русские, — веру в Бога, Господа нашего Иисуса Христа. И они хватали, сажали в тюрьмы и даже убивали посланцев Бога, русских священников, которые учили добру, прощению и состраданию.

И эвены решили не подчиняться Антихристу, но и воевать с ним не стали, откочевали из Долины. Но ушли только две семьи — остальные вернулись. Они привыкли к соли, патронам и ружьям, чтобы охотиться, а в тайге, в тундре, в горах этого нет. Многих выследили. А мы ушли в глухую тайгу, кочевали в отрогах Срединного хребта и по горной тундре. И жили, как научили нас русские: с молитвой два раза в день и с Богом. И праздновали Рождество, и высчитывали по ветхим дощечкам дни Пасхи. И женились, как сыновья Ноя, на сёстрах, родных и двоюродных, или, самые смелые, уходили на север, до Коврана и Тигиля, и даже Пенжины, выменивали на соболя и белку местных эвенок.

А Илья Иннокентьевич нашёл свою жену в рождественскую пургу. И понял, что она послана Богом, ведь он почти пятнадцать лет не видел женщины, если не считать сестёр. Она отстала от большевиков, которые везли

её на собаках в райцентр Соболево как шпионку, но заплутали и проехали мимо села. Милиционеры сидели на нартах, а она шла за ними на привязи, верёвка распуталась, женщина не смогла их догнать, застряла в сугробе. И её нашли дедушкины олени, отбившиеся от стада. Они залегли, прижавшись друг к другу и к ней.

Так их и нашёл Илья Иннокентьевич. Она совсем замёрзла, он долго растирал её медвежьим жиром, потом отогревал в своём кукуле, накрывшись шкурами.

У эвенов есть такой обычай: если ты коснулся женщины до её сокровенных мест, то должен жениться на ней. Она была очень красивой, он не удержался и женился той же ночью.

К утру пурга закончилась, и, как всегда, наступила оттепель. Дедушка привязал жену в кукуле поперёк седла, оседлал другого оленя, и они отправились в путь. Очень скоро Илья Иннокентьевич услышал собачий лай и увидел нарты. Он сначала испугался, но потом понял, что люди на них мёртвые, заледеневшие.

Это были большевики, они уснули и так, сидя, замёрзли, дедушка отвязал собак, они облаяли оленей и убежали, он бы их взял с собой, но у него не было рыбы, чтобы кормить их.

Жена в кукуле стала сильно дёргаться, и дедушка развязал её. Она закричала на незнакомом языке, но тут увидела большевиков и тотчас спрятала голову. Илья Иннокентьевич по-русски объяснил ей, что эти люди замёрзли насмерть, и она снова высунулась из кукуля и больше не кричала, только жестами потребовала свою одежду. Дедушка показал ей в сторону леса, над ним высоко поднимались в ясное небо седые дымки села. Жена снова нырнула в кукуль.

Дедушка усадил скрюченных большевиков в сугроб, а жену уложил на нарты, запряг в них двух оленей, и они помчались прочь через тундру в сторону гор. К вечеру въехали в заледеневший берёзовый лес и остановились на ночёвку. Илья Иннокентьевич разгрёб снег под берёзовым остолопом и разложил большой эвенский костёр, чтобы просушить одежду жены — без неё она не соглашалась пускать его к себе в кукуль.

Голубые трусы и сорочка высохли быстро, а телогрейка и стёганые штаны никак просыхать не хотели.

Жена, опустив глаза, строго сказала, что два дня не ела. Илья Иннокентьевич подогрел на огне варёное мясо и напоил её берёзовым чаем. Она крепко уснула.

А дедушка спал, завернувшись в шкуру, ночью вставал, поправлял костёр, чтобы жене было уютно спать. К рассвету разгорелся изнутри остолоп, дым выходил из него, как из трубы, прозрачный и тонкий, было так тепло, что они проспали до полудня, пока он не выгорел и не осел.

Через три дня снова замело, но они уже добежали до зимнего стойбища на краю горной тайги, и родственники сообща поставили им чум из сухих жердей молодой лиственницы, накрыв его дымлёными шкурами.

Дедушка захотел, чтобы старейшина повенчал их, но тот не смог, совсем стал старым и не поднимался со своего места у очага. Тогда дед взял жену за руку и повёл к старейшине, чтобы он сказал им: *Господи, Боже наш, славою и честию венчай я их.*

Так они делали с тех пор, как бежали от большевиков, и в отсутствие священника эти слова произносил и задавал вопросы о согласии на брак

всегда дедушка, как самый набожный и продвинутый в знании церковных обрядов шаман.

Мисико же решила, что дед привёл её знакомиться со старейшиной, стояла покорно, склонив голову, пока дело не дошло до целования креста. Ей было известно значение этого действа, и хотя она тронула крест губами, подчинившись ожиданию собравшихся дедушкиных родственников, но в глазах её отразился протест. И когда они вернулись в свой чум, она, с трудом подбирая русские слова, заявила, что дед обманом совершил над ней, некрещёной, обряд венчания, и потому она не считает себя принадлежащей ему, к тому же она пять лет назад вышла замуж за офицера, он умер в военном госпитале в Пхеньяне у неё на руках, и у них в Наре остался сын, но она не успела вернуться к нему — город захватили советские солдаты, и ей, чтобы не попасть в плен, пришлось завербоваться на Камчатку. Но, сказала она, готова делить с ним ложе, хотя и любит своего мёртвого мужа и тоскует по сыну — ведь дедушка её спаситель и кормилец. И если у них родится ребёнок, она отказывается от прав на него и оставит дитя ему.

Она исполнила своё обещание, каждую ночь, если дед не уходил в табун, Мисико в слезах принимала его, но после сразу же прогоняла на своё место и, кажется, потом так же тихо плакала.

Илья Иннокентьевич нежно любил её и сочувствовал ей, но не мог устоять и молча забирался к ней в кукуль, не спрашивая позволения, потому что знал, что она этого не хочет. И ему было так горько, что впору тоже плакать, и он утешался тем, что читал при свете очага единственную свою книгу. Через девять месяцев она родила ему сына, который, выйдя из утробы, долго не подавал голоса, и повитуха, старшая сестра деда, пощекотала ему нос вороньим пёрышком, чтобы он чихнул и начал дышать. И потом рассказывала всем, что ребёнку не понравилось у нас, он хотел синичкой ускользнуть в мамину страну Восходящего солнца.

Всем показалось, что мать не любит своё дитя: когда новорождённый плачем требовал покормить его, она безмолвно стояла у колыбельки и печально смотрела в его сморщенное личико, хотя грудь её была так переполнена молоком, что сорочка вокруг сосков была мокрой. А потом, когда она нехотя брала младенца на руки, старалась не давать ему грудь, а сцеживала молоко прямо в жадно открытый ротик, проливая при этом ему на щёки или шею добрую половину. Однажды Илья Иннокентьевич не выдержал, присосался к её груди и дал молоко ребёнку, и тот впервые напился досыта, сразу же уснул с улыбкой на устах. И с той поры они его так и кормили. И Мисико уже не плакала, когда муж приходил к ней ночью, и обнимала его до утра, чтобы он не ушёл, как привык.

И никто не удивился, когда ребёнок, едва встав на ноги, выбрался из чума и нашёл *важенку*, мать подаренного ему телёночка, чтобы разделить с ним её молоко.

Ребёнок всюду ходил за отцом и безутешно плакал, когда не находил его. И вот тогда-то Мисико исчезла. Илья Иннокентьевич успел рассказал ей, что их семья с 1935 года скрывается от большевиков, которые хотят отнять у них оленей, не общаются с другими эвенами и потому ничего не знают, что происходит на свете, а Мисико открыла свою тайну: нет, она не была шпионкой, поскольку не обладала какими-либо полезными для её родины

сведениями, но узнала от мастера консервного цеха прибрежного рыбзавода, что икра и крабы изготавливались для правительственных учреждений и отправлялись прямиком в Москву.

Она не смогла освободиться за эти годы от чёрного, разъедавшего её душу желания отомстить за смерть мужа, заколотого штыком советского солдата, за насилие, совершённое над ней на причале Инчхона, где она спряталась ночью в свёрнутом бухтой канате, опоздав на последний японский пароход, и когда её зимой перевели на работу в заводскую котельную, она так разогнала паровой котёл, что взорвались, не выдержав давления, два автоклава и погиб пожилой слесарь.

Илья Иннокентьевич не пошёл её искать, он знал, что она ушла в Соболево с оленем, которого прикармливала все эти два года, и сдалась властям в надежде вернуться в Японию. Но, с горечью думал Илья Иннокентьевич, скорее всего, в глубине души она знала, что не увидит больше ни своей родины, ни сына. И всё же должна была попытаться.

Её обвинят в смерти милиционеров и слесаря, без суда расстреляют в тесном дворе сельской тюрьмы, а труп сбросят с самоходной баржи в мутные штормовые волны Охотского моря с тяжёлым камнем на ногах. И Мисико до весны простоит в густых и высоких зарослях морской капусты, как в лесу, охваченном холодным зимним солнечным светом, пока её не съедят милые, в чёрных пятнах, золотистые нерпы, которые позже, может быть, и приплывут умирать в тёплые воды японских островов и выбросятся на чужой берег.

Мисико предпочла страшную смерть от большевиков жизни с нелюбимым мужем в горной тундре.

И Илья Иннокентьевич тогда ещё понял, что бесконечно устал от одиночества среди близких людей, в семье, он не мог разделить с ними свою беду и почувствовал невыразимую любовь к чужим людям, о которой проповедовал святой Матфей и которую узнал только сейчас, в горе.

И тогда же он решил вернуться в родную долину, но утекло ещё много воды, прежде чем он сделал это».

## Часть пятая

## *Ковбои тундры,*
## *так называли эвенов, потому что они ездили на оленях верхом и метко стреляли*

Ковбой не должен стрелять первым.
*Джин Отри. «Ковбойский кодекс»*

### *1*

Я увидел в прогалинах на Тропе мелькающий светло-зелёный, почти жёлтый мотоцикл, но ещё раньше услышал треск его выхлопной трубы. Он мчался, оставляя сизый дымок, подлетая на берёзовых толстых корнях, кое-где пересекавших лесную дорожку.

Это была умелая, предусмотрительная и красивая езда, байкер не давал колесу тыкаться в препятствие, а еле заметным движением тела отрывал его от земли, раскачиваясь затем, слегка привстав в седле, почти летел над вечерней в жёлтом свете Тропой. Манера, чем-то напоминающая жокейскую. Это было похоже на езду Арсения, вдруг понял я, когда он подтянул стремена и, развлекаясь, пустил лошадь в галоп. И как бы я не настраивал себя против него, против их *отношений* с Кристиной, не мог не осознавать, что есть в этом *парне* располагающие к нему, привлекательные черты. Это прежде всего его тактичный и осторожный ум. Он как бы касается тебя, твоей души, но без нажима, бережно. И тебе хочется впустить его, открыться ему. Может быть, это свойственно всем писателям, опытным журналистам? Я почувствовал его душу, ещё мальчишескую, молодую, близкую мне. Вероятно, мы могли бы стать хорошими друзьями, если бы не Кристина, не обида за Иннокентия.

И как он тонко, не торопя событий, отодвинулся от неё, напросился с нами в стойбище, сказал, что когда-то, в конце восьмидесятых, был там, познакомился с Ильёй Иннокентьевичем. Он даже сослался на свою публикацию о нём «Судьба кочевника» в центральной молодёжной газете, которая во многом определила и его журналистскую судьбу. И тем самым объединил нас всех во времени — Иннокентия, Кристину, Максима, меня и себя, — и теперь мне тоже кажется, что мы и в самом деле связаны с ним, — историей и судьбой. И он, может быть, сможет заменить нам Иннокентия.

Кажется, это была Аня, я почувствовал радость, даже гордость за неё и одновременно тревогу: с чем, с какими новостями спешит она к нам?

Не торопясь спустился по откосу, прошёл метров двадцать и встал в шеломайнике — а вдруг это не она, а кто-то из бандюков вырядился в её шлем?

Оглянулся и увидел на увале, на краю откоса, рядом с Арсением, Сергея. Махнул ему, выйдя на Тропу.

Мотоциклист замедлил ход, остановился. Оружия у него не было, из-под шлема виднелись соломенного цвета волосы.

Аня сняла шлем и пошла навстречу, обняла меня, на мгновение прижавшись всем телом, сказала торопливо, тревожно: *Они скоро будут, шесть человек, с автоматами и ружьями, уходите!*

Из *шеломайника* следом за мной неслышно вышел Иван, спросил: *Кто такая?*

*Свои,* сказал я.

*Прячьтесь,* повторила Аня. *Их шесть, все с оружием, вся наша охрана.*

*Нет, мы их встретим,* сказал Иван и слегка встряхнул автомат, висевший у него на шее. И я только сейчас почувствовал, с какой нежностью он держит оружие — словно домашнего любимого питомца. *А она пусть едет в стойбище, предупредит, вдруг Макс не успевает.*

*Вы глухие? Их шесть бугаёв, с автоматами и ружьями. Настоящие бандиты,* сказала ему Аня.

*Петрович с ними?* спросил я.

*Нет, с узбеками остался.*

*Ильич, скажи ей, чтобы ехала в стойбище,* повторил Иван.

*Только вместе с вами,* сказала Аня.

*Вы нам будете мешать,* по-прежнему не глядя на неё, возразил Иван. *Нам некогда вас охранять.*

*Делайте что хотите,* упёрлась Аня, *но я уйду с вами.*

*Аня, тебе лучше уехать,* сказал я, *мы будем биться с бандитами, и тебя могут убить.*

*Какое страшное слово — убить,* усмехнулась Аня, *но они в меня стрелять не станут.*

*Вот тут вы, девушка, ошибаетесь, я знаю эту породу, ещё как станут, даже если вы с кем-то из них спите,* Иван сел на мотоцикл и по откосу, дав газу, объехал трос, и резво так, что полетели клочья травы с землёй, заскочил на увал.

*Хороший аппарат,* сказал он вернувшись.

*Это кто?* ткнув в его сторону скрюченным пальчиком, небрежно спросила у меня Аня.

*Иван, с СВО, друг моего погибшего сына,* сказал я.

*Я им крикну, что вы меня в заложники взяли,* сказала Аня Ивану, крепко, до боли, сжав мне руку, *они не станут в меня стрелять.*

*А вот в этом что-то есть,* пробормотал Иван, *давайте обсудим.*

Мы поднырнули под трос, подошли.

*А это зачем?* спросила Аня, показав на трос.

*А это чтоб остановить их,* ответил Иван. *Они на чём?*

*На двух квадриках, с багажниками, скоро будут здесь. Я им сказала, что поеду в колхоз за консервантом для икры, у нас кончается, а рыбы много.*

*Когда они приедут, вы им скажете, что мы взяли вас в заложники и постреляем всех, если попробуют проехать к стойбищу,* сказал Иван. *Пусть назад поворачивают, если жить хотят. Мы тут все охотники, дичь и коптеры на лету сбиваем, не промахнёмся!*

*Сказать-то скажу, да не поверят, что убьёте!*

*Ваше дело сказать. А не хотите, тогда вам лучше в колхоз ехать. Вы нам мешать будете.*

*Нет, я останусь,* сердито сказала Аня. *Я с ним останусь.* Она тронула меня за плечо, ища поддержки.

Иван посмотрел удивлённо.

*Аня, вам лучше уйти,* сказал я неловко, *не смогу и с ними биться, и вас оберегать.*

*Да пошли вы...* выругалась Аня. *Я сама за себя постою.* И достала из кармана куртки ракетницу.

*Спрячь,* сказал ей, улыбнувшись, Иван, *а с ружьём дело имела?*

*Позавчера по куликам стреляла! Меня папа научил, охотиться и на байке гонять,* обрадовалась Аня.

*Ну, тогда нас не четверо, а пятеро,* подытожил Иван и чему-то рассмеялся.

*А что смешного?* нахмурилась Аня.

*Да не над тобой,* отмахнулся Иван, *я за Ильича рад, такая девушка пришла за него биться.*

Аня улыбнулась мне.

*Я, честно говоря, против, а как подстрелят её?*

*Не подстрелят!* Аня приобняла меня за плечи. *Я не буду сильно высовываться,* она хихикнула, но как-то вымученно, и мы переглянулись с Иваном, поняли,

что она всё-таки боится. Иван развёл длинные руки, отвернулся, слегка ссутулившись.

Какие всё-таки они большие, Иннокентий и Иван.

*Не женское это дело,* сказал я тихо, без надежды быть услышанным. *А если убьют? Ни за что себе не прощу.*

*Ну, заладил, убьют да убьют... А чего ты мне про сына не сказал? Он офицер?*

*Подполковника получил, комбат.*

*Странно,* удивилась она, *подполковников обычно не убивают, у меня папа полгода на СВО был.*

*Он в разведку сам ходил.*

*А я почувствовала сразу...*

*Что почувствовала?*

*Ну, что у тебя какая-то тяжесть в душе... или горе большое.*

От её невысказанного сочувствия у меня вдруг сжалось сердце и выступили стариковские слёзы, и я сказал ей с чувством, как будто поделился горем:

*Мы несём его прах в стойбище, он завещал развеять над Кичей...*

Она обняла меня.

Иван отогнал мотобайк к лошадям, было видно, что он с удовольствием гоняет на нём, и принёс Ане пояс с заводскими патронами, моё ружьё.

Аня переломила его, заглянула в стволы, спросила у Ивана, кучно ли бьёт.

Тот усмехнулся чему-то, кивнул, потом неожиданно ласково сказал:

*Если что, целься ниже пояса.* Помолчав, добавил: *Или под ноги, в человека стрелять трудно, обида нужна, а так ты его остановишь, а мы разберёмся, что с ним делать. В голову лучше не целься, вдруг попадёшь.* Иван засмеялся: *Шутка!*

*Смотря в кого,* возразила Аня, ответно улыбнувшись, *у них есть один, начальник охраны, так я бы этой сволочи и в лицо, в поганую его фашистскую рожу долбанула бы. Он на первом квадрике поедет, с левого края багажника всегда сидит. Если что, его валите. Есть ещё один заядлый, лысый, он на втором. Остальные — так себе, и нашим, и вашим, договориться можно, они вообще-то на рыбу нанимались, охранниками подрабатывают.*

*А говорила — все они бандюки конченные,* усмехнулся Иван.

Я понял, кого Аня имеет в виду, и прислушался к себе, есть ли у меня злость к Барановичу, и ничего не почувствовал, разве что жалость. Я помнил его совсем юношей, когда за жестокую драку погнали из «Мэнго» и он пришёл наниматься в наш «Нургенек»: жёсткий подловатый пацан. Возможно, если бы я дал добро, он не переметнулся к Хозяину, стал бы хреновеньким, но человеком, не уголовником.

Сели чаевать. Аня и Иван оживлённо переговаривались, было видно, что они, в конце концов, понравились друг другу. Что ж, парень он ладный, богатырь голубоглазый с орденами, и у него, судя по всему, давно не было женщины.

Сергей молчал, о чём-то угнетённо думал, видимо, переживал свои отношения с бандитами, да и обещание Ивана, односельчанина, подстрелить его, если будет перечить в бою, тоже не из самых приятных.

И он первым, ближе к вечеру, услышал квадроциклы.

Мы с Аней и Арсением укрылись за тополями: Аня — в самый угол лежавших друг на друге огромных деревьев; рядом, за зарослями *шеломайника*,

под правым краем округлого начала увала, стоял старый сквозной лес; я — посредине, ближе к Тропе; между нами — Арсений с ружьём Иннокентия, а Сергей залёг с другого края, за берёзовым, ещё крепким, нетрухлявым остолопом у левого склона; за ним, за *шеломайником* и кедрачом, открывалось болото. Иван, скороговоркой повторив задание каждому, спустился вперёд по Тропе и спрятался в лесу, в яме, метрах в двадцати от тросика. Я увидел его, приподнялся, одобрительно махнул ему сверху, он кивнул в ответ, напряжённо улыбнулся.

Сидевший за рулём рыжебородый, которого слегка, рикошетом, подранил Иван ещё на Посту гидрологов, заметил тросик в самый последний момент, затормозил и успел завалиться в траву, вывернув руль влево. Бандит справа повис на тросе, забарахтался. Баранович успел спрыгнуть и откатиться, показав хорошую реакцию. Он сразу же, едва вскочив на ноги, выстрелил очередью в нашу сторону, но его тут же задел краем багажника второй квадрик, тоже отвернувший влево. Пока все шестеро барахтались, выбираясь, к краю откоса подбежала Аня, закричала: *Меня в заложники взяли, поворачивайте назад, а то убьют!*

Я ослушался Ивана, побежал за ней и встал рядом, целясь в Барановича, который наклонился за автоматом.

*Поворачивайте, прошу!* повторила Аня.

Краем глаза я увидел, что в нас целится из-за второго квадроцикла некто лысый, и нырнул к ногам девушки, дёрнул на себя, придавил. Аня упала в траву, ударившись всем телом. Пуля зацепила что-то, не меня, подумал я с облегчением, но через мгновение почувствовал жжение в ухе и кровь, просочившуюся за воротник. Порвали ушную раковину. Тотчас же, почти одновременно, выстрелили Сергей и Баранович, оба промахнулись, но при этом пуля Вахрина расщепила сиденье багажника рядом с лицом лысого. Все присели — открыл огонь из ямы Иван и ранил рыжебородого. Четверо бандитов дружно откатились и нырнули в *шеломайник*, а потом вбежали в лес.

Я оттащил Аню от края откоса, наклонился к ней, к её побледневшему лицу и наткнулся на взгляд серых глаз, полных боли: *Женька, сволочь, попал,* сказала она мне удивлённо и тут же закричала, приподняв голову: *Женька, сволочь, ты убил меня совсем!*

*Я в коряка целил, не в тебя, думал, он тебя зарезать хочет!* был ответ.

*Так ей, подлюке, и надо! Это она их предупредила, не понял, дурик! Под черножопого легла, вот и старается теперь,* отозвался кто-то, должно быть, рыжебородый.

Я быстро осмотрел Аню, ничего не нашёл.

*Нога,* простонала она*, в ногу попал.*

Поднял её кожаную штанину, ничего.

*Ботинок расстегни,* прошептала Аня.

Пуля задела высокий борт зашнурованного ботинка и каким-то удивительным образом ударила по ноге, оставив только ссадину и огромный синяк. У неё была белая, тонкая, просвечивающая синеватыми венами молочная кожа. На ощупь — как у ребёнка.

Я подхватил её за подмышки и оттащил к тополям.

Я действовал машинально, не раздумывая, — время то замедлялось, то ускорялось, и всё происходившее я видел сквозь прозрачную, как марево,

пелену и в то же время — отчётливо. Слышал пули: то далеко слева, то над головой. И вдруг раздался, как гром прозвучавший, словно выпали пробки из ушей, одиночный близкий выстрел, крик боли, маты, и спустя несколько секунд ещё один, а в ответ — несколько очередей. Пелена вдруг спала, и я увидел всё с оглушающей ясностью и вновь обрёл способность анализировать, понимать, испытывать радость, боль, страх.

Такое со мной случалось и раньше, в молодости, на соревнованиях, в финале: я впал в транс, время так же то замедлялось, то ускорялось, казалось, я ничего не видел и не слышал, но тело при этом само откликалось на выпады противника, на его тяжёлое близкое дыхание, а я только наблюдал за ним, за собой, как бы отделившись, приподнявшись над ковром ринга...

А это, подумал я, стреляют бандиты, решили обойти увал по лесу, а там Иван.

Я посмотрел вниз, но Ивана в яме не было. Он стоял метрах в пятнадцати от неё за пятиствольным белым *дывэдом* с низкой густой кроной, на голове у него — скрадывавший лицо венок из длинных узких листьев *имукэта*.

Когда он успел сплести этот венок и накидку на плечи? Вероятно, когда я спал. И как же точно он распланировал места для засады. Как он предугадал, куда побегут браконьеры.

Трое бандитов обходили увал через лес, я увидел их, бегущих гуськом, пригнувшихся, они мелькнули метрах в пятидесяти. А где ещё один? Остался в лесу, и это он только что звал и верещал от боли. Иван их тоже увидел, сдвинулся вокруг *дывэда*, втиснулся между стволов. Да, а ещё двое? Может быть, они проскочили вперёд к нам под самый откос и залегли? Один из них, скорее всего, ранен, а может быть, и оба.

Я вскрикнул по глухариному, Сергей обернулся, я выставил два пальца и показал на откос, вопросительно пожав плечами. Сергей утвердительно кивнул.

Иван тоже обернулся, я выставил три пальца и показал в лес, Иван сморщился недовольно, показал жестами, что я должен был стрелять, когда увидел бандитов.

Это было разумно, ведь они знают, что мы, четверо, в засаде, на увале, а где пятый, они точно не знают, и если Иван снова выстрелит, то обнаружит себя. И его могут подстрелить и те, что в лесу, и те, что на откосе. Нужно обезвредить хотя бы этих, которые рядом.

Их больше, и они первыми начали стрелять.

Я издал глухариный зов, но очень тихо, чтобы услышал только Сергей, и жестами показал, что собираюсь спуститься справа по откосу к этим двоим и чтобы он кинул палку вперёд, рядом с Тропой. Сергей изобразил знак дружбы, взяв в замок ладони. Я показал ему жестами, что пойду только я, а он должен ждать.

Аня всё поняла без слов, схватила меня за руку и не отпускала. Тогда я крепко обнял её и поцеловал. Впервые. Губы у неё сухие, запёкшиеся. Перехватил взгляд Арсения, показал ему открытой ладонью в землю: *Лежи, жди. Не лезь, это не твоя война,* сказал ему мысленно. Аня вдруг оттолкнула меня, отвернулась к тополю. Я прощально сжал её безвольные пальцы и прополз под деревом.

На самом откосе, на переломе, в нескольких сантиметрах от меня ударила в землю пуля. От испуга я замер, не в силах двинуться. Это был уже не транс, в который я впал в самом начале боя, а что-то вроде секундного паралича. Такого со мной никогда не было, потому что стреляли именно в меня, и во второй раз, и чудом промахнулись. Я со страхом, сковывающим, обездвиживающим, ждал третьего выстрела и вместо того, чтобы откатиться, только смог крепко стиснуть зубы. Не знаю как, но это помогло мне почувствовать мышцы живота и ног, и я, всё перепутав, не откатился, а нырнул вниз лицом с откоса — навстречу третьему выстрелу. Соскальзывая по траве, как-то извернулся, чем и спас себя, и упал на больное бедро. Вспышка боли.

Но пуля ударила в то место, где я только что лежал.

Тотчас же началась стрельба, это кто-то ударил с откоса в сторону Тропы, куда упал брошенный сук, и тут же сверху раздалась короткая очередь, ушедшая в *шеломайник* — это стрелял Сергей вдоль увала, не давал подняться, прижимал; следом, дважды, на всю окрестность ахнуло моё помповое ружьё — в ту сторону, откуда стреляли в меня, определил я по осыпавшимся листьям. Это всё-таки встрял Арсений, прикрывал меня, я не успел предупредить, что патроны у него с мелкой дробью, для испуга. Надо отдать ему должное, быстро сориентировался, без указа, в бою это не у каждого получается. *Как у тебя,* сказал я себе.

Я, опираясь на левую руку и злясь на себя, в несколько косых коротких скользящих прыжков по-обезьяньи метнулся по закруглённому откосу к лежащим, как мне представлялось, бандитам и чуть было не наскочил на них: один, тот, что оказался ближе, лысый, сидя накладывал жгут на предплечье, а второй, рыжебородый, повернулся боком и, опираясь на колено, стрелял наугад из карабина в сторону Тропы, туда, где повис на *шеломайнике* берёзовый сук, брошенный Сергеем.

Бандиты оказались у меня на прицеле, мог ударить обоих одним выстрелом. Они никак не ожидали, что я выйду из засады и нападу.

И тут я встретился с ними взглядом, они были в три раза моложе, да и, скорее всего, сильнее, быстрее, но в их глазах всплывал страх, отчаянное желание жить — страстная нечаянная мольба не убивать их. Это длилось несколько секунд, достаточных для того, чтобы несколько раз нажать на курок или развернуться вполоборота и убить меня. Рыжий бы и убил, если бы от резкого поворота не потерял равновесие.

Мы одновременно нажали на курок. Я услышал только свой выстрел.

Моя пуля ударила его в плечо, вероятно, раздробив сустав. Это спасло ему жизнь. Он закричал так, будто кто-то огромными клыками рвал его на куски.

Лысый же от испуга упал на спину, приподняв согнутые в локтях руки, бросив фиолетовый жгут, зачем-то показывая мне, а потом подбежавшим Сергею и Арсению, пустые ладони. Но в то же время в его лице, непрерывно бегающих глазах было теперь какое-то подленькое, не контролируемое им выражение, как будто он чего-то ждал или искал, что могло изменить его безвыходное положение и дать шанс расправиться с нами.

Я поискал глазами вокруг, автомата не было, тогда схватил лысого за простреленную, истекающую кровью руку и рванул на себя, он вскрикнул, привстал. Оружие лежало под ним, и он готовился при первой возможности выхватить его. И когда я дёрнул на себя ремень, он инстинктивно, не глядя, схватился за него, выдав себя, и я безжалостно и зло ткнул ему в грудь стволом

своего калаша. И если бы он попытался оказать сопротивление, я бы ещё раз, не сдерживаясь, уже от души, с размахом ударил, развернув автомат прикладом к нему.

Этот тип, притворившийся безоружным, готовый при случае без всякой жалости расстрелять нас, вызывал такую ненависть, какой я никогда прежде не испытывал. Он в одно мгновение стал для меня воплощением всего подлого, низкого, что я видел в своей жизни, и мне хотелось не просто убить его, а выместить на нём все свои обиды, всё то зло, какое этот мир приготовил для меня, и тыкать, и тыкать в него своим автоматом... Почему-то вся моя ненависть была сосредоточена только на нём и не распространялась на рыжебородого, продолжавшего вопить и сучить ногами.

И мне было наплевать, что это всего лишь маленький бой, первый в моей жизни, но он и был моей маленькой войной с подлостью и злом.

И не сразу, но исподволь во мне созревала простая — страшная и простая — правда о себе, о других, взявших оружие в руки, чтобы убивать: готовы ли мы выстоять в Большой войне, не заразившись этой большой подлостью и этим большим Злом?

## *3*

Я остановил кровотечение, залил раны хлоргексидином, и мы с Сергеем примотали их руки к туловищу по локти и отвели к тополям, и там уже связали ноги, а головы накрыли тряпьём, которое нашли в багажниках квадроциклов, чтобы не заели насмерть комары.

Охранять их и следить за Тропой и окрестностями оставили Аню — на случай, если Баранович с бандой вернётся за квадриками. Она не упустила случая по-свойски, на матах, снисходительно «побеседовать» с лысым. Я, по-прежнему испытывая ненависть к этому знакомому ей лысому Жене, но теперь холодную, остывшую, трезвую, резко сказал ей, чтобы она ни в каком случае не только не развязывала их, но и даже не пыталась расслабить верёвки. Аня удивлённо взглянула на меня, и я понял, что она сочла мои действия и слова чересчур жёсткими по отношению к раненым. И я сказал ей, снова, как в самом начале боя, почувствовав сердцебиение, что эти парни, если бы мы оказались на их месте, давно бы и без всякой жалости расправились с нами, потому что всё, что она увидела, — это не уличная драка до первой крови, а настоящая война. Они пришли убить нас, а мы ещё церемонимся с ними. Убить и тут же закопать. Да так, чтобы никто и никогда нас не нашёл. Вот для этого у них сегодня в каждом квадроцикле по лопате.

На всякий случай, поддавшись какому-то неясному тревожному предчувствию, я забрал у неё дробовик с картечью, оставил ей помповое ружьё с дробью.

Аня молча притянула меня к себе, вытерла с моей шеи кровь, просунула руку в мой рюкзак, достала пластырь и заклеила ранку на ушной раковине. Я совсем забыл об этом.

*Повезло ж тебе,* сказала она, *кто-то пытался тебя убить.*

Я давно понял, что это был Баранович.

Мы, низко пригибаясь на открытых местах, прошли до лошадей, они мирно, обмахиваясь хвостами, объедали траву вокруг деревьев. Жеребец Сергея, увидев хозяина, замотал головой, фыркнул.

Решил отправить Арсения на Красотке в стойбище: *Надо подстраховать Максима,* сказал ему.

*Найду?* засомневался он.

*Держись Тропы, не сворачивай, она приведёт куда надо.*

Следовало вывести его из боя, я почувствовал его азарт, излишнее усердие, и что-то подсказывало мне, что добром это для него не кончится. *И это не его война, чтобы он там ни надумал.* Ещё было как-то жалко Арсения. Или Кристину.

Как и планировал Иван, засаду устроили на втором съезде с увала. Сергей — на левой стороне, в берёзах, а я — возле низины, за огромным ветвистым тополем, из таких наши братья-ительмены строили баты. Вниз разбегалась целая толпа тополей — до самой реки, она просвечивала, проблёскивала между ветвей. Здесь Тропа сворачивала, уходила вместе с рекой на запад, вправо.

Слева, из леса, ахнул с долгим эхом выстрел, в ответ крик боли и две длинные автоматные очереди. Сколько ж у них патронов? Было похоже, что Иван снова кого-то выследил и подстрелил. И как бы мне ни хотелось пойти к нему, помочь в охоте на бандитов, остался на увале высматривать их, чтобы, если они решатся атаковать нас, дать отпор, как говорил наш командир, наш Иван.

Я услышал зов глухариного самца и выдвинулся из-за толстого тополиного ствола. Сергей призывно махнул мне рукой, показав три пальца в сторону съезда с увала.

Значит, теперь их трое.

Низко пригнувшись, засеменил к Сергею, встал за соседним деревом.

*Да они бегут от него,* сказал он с усмешкой. *Страху нагнал на них, слышишь, стреляют куда попало, даже про нас забыли.*

Я увидел сначала Ивана, он быстро, прячась за берёзами, наискосок шёл к нам. Бандиты бежали по Тропе, время от времени кто-нибудь из них оборачивался и стрелял веером в лес, вероятно, они думали, что он ещё преследует их.

Первым, сгибаясь, бежал Баранович. И хотя я легко мог подстрелить его, медлил, не хотелось никого убивать и даже тяжело ранить, как рыжего.

Он, наконец, остановился, но я снова не выстрелил — охранники обогнали его и прикрыли, а он ударил очередью из-за них по лесу, левее Тропы. И в это время одиночным снова ахнул Сергей, обнаружил себя, и Баранович упал, схватился за бедро. Его дружки вдруг побросали оружие и бросились прочь, не обращая внимания на приказы и окрики Барановича. К нему, нацелив автомат, быстрым лёгким шагом — от дерева к дереву — приближался Иван, весь в длинных узких листьях *имукэта*, похожий на медведя или *чучунаа* — снежного человека. И почти одновременно я услышал другой выстрел, гулкий и густой, из ружья, даже как будто почувствовал отдачу в плечо.

Это стреляла Аня. И я испугался за неё, крикнул Сергею: *Что-то с Аней!* И побежал к ней.

Аня сидела на коленях, прислонившись лбом к лежащему тополю, из плеча у неё торчал короткий якутский охотничий нож. Рядом сидел лысый с расстёгнутыми штанами, шарил руками по траве, лицо его было забинтовано, марля вся пропиталась кровью.

Должно быть, она выстрелила почти в упор. У него непроизвольно дёргалась нижняя челюсть.

Услышав мои шаги, Аня обернулась, протянула ко мне руки и, привстав на коленях, силилась что-то сказать сквозь рыдания.

*У-у-би-и-ть, убить,* догадался, наконец, я. Она пыталась повторить то, что сказала мне раньше: какое страшное слово — убить.

Аня хотела сказать, что не её убили, а она убила. И это ещё страшнее.

Аня обняла меня за ноги, прижав лицо к животу. Её сильное тело сотрясалось от рыданий. Я машинально осмотрел рану: нож пробил сверху вниз плечо и упёрся в лопатку, не задев крупных кровеносных сосудов. Достал из *ина* бинт, пластырь, пальцами прижал ей плечо вокруг лезвия и выдернул нож. Аня замерла и спросила вдруг будничным, без следов плача голосом: *Что ты делаешь?*

Показал ей окровавленный нож. Она хотела отстраниться, встать, но я не дал, снял с неё кожаную куртку, майку, обработал рану хлоргексидином, приложил марлевый томпон, закрепил его крест на крест пластырем и перебинтовал через чисто выбритую подмышку, с каким-то странным, почти нежным чувством подняв её левую руку, потом несколько раз пропустил бинт через правую подмышку, под бретельку застиранного лифчика, коснувшись её тёплой тяжёлой груди, — теперь повязка не сползёт.

От неё пахло потом, но не резко, тяжело, а как-то чисто, легко, возбуждающе, и я, подняв её с колен, осторожно обнял, ощутил ладонями ложбинку позвоночника, мягкую, тонкую, нежную, слегка влажную кожу и одновременно крепкие твёрдые мышцы спины байкерши, не удержался и поцеловал в губы. Она послушно приникла ко мне и всхлипнула.

Я оглянулся: лысый теперь пытался куда-то ползти, а рыжий, лежавший у него на пути, пристально смотрел на полуголую Аню, пришлось поправить сползшую с его лица тряпку.

Аня медленно, неохотно надела окровавленную майку и куртку и, с трогательной лаской взглянув на меня, дрогнувшим голосом попросила воды, как может только женщина, просящая любви. Фляжка оказалась пустой, и я пошёл к ручью. Ложе его было выстлано поникшей и бьющейся в быстрых чистых струях зелёной травой и нежными нитями свежей яркой тины. От ледяной воды слегка заломило зубы.

Я хотел Аню. Её запахи, ещё не знающая увядания нежная кожа, мягкие сухие губы, да и всё её сильное плотное тело, приникавшее ко мне ночью, быстрые скользящие объятья её рук и ног, эти нежные, сжимавшие меня кольца, пробуждали во мне такое нетерпеливое телесное желание, что я был готов сейчас же, прижав её к тополю, на глазах у раненого рыжего, рядом с окровавленным телом лысого взять её... И я знал, чувствовал, что это было бы безумным и до крика страстным завершением, финалом этого кровавого боя, нашей маленькой войны...

## *4*

Поднялся от ручья на увал и увидел Сергея Вахрина, нёсшего два ружья и два автомата, за ним шёл Иван, уже освободившийся от своего маскировочного облачения, он волок повисшего у него на плече раненого Барановича, правая нога у которого была зажгутована под самый пах.

Я спросил: *Где остальные?*

*Двое слиняли, да и хрен с ними, а третий, подстреленный, прячется в лесу,* ответил весело Иван, *искать — себе дороже, на пулю можно нарваться, жить захочет — сам приползёт.*

*Слышь, начальник,* обратился он к Барановичу, *ты крикни ему, что мы сейчас вниз поедем, а то ему поплохеет, куда он пешком пойдёт? А искать его никто не будет, МЧС далеко. Сдохнет тут. Пусть к нам ползёт! Война закончилась.*

Баранович, морщась от боли, кивнул, закричал в лес: *Лёха, давай сюда! Война закончилась! В больничку поедем.*

*Не, братан, я в аквариум добровольно не ходок! Сами идите, я как-нибудь перекантуюсь!*

*В какой ещё аквариум?* удивился Иван.

*В тюрьму,* подсказал я, *в камеру предварительного заключения.*

*Это не факт!* крикнул Баранович. *У нас адвокат правильный, бывший начальник отдела по ОПГ! Заметь, мы никого не подстрелили!* он с усмешкой оглядел нас.

*Подстрелишь тут, рэмбы какие-то образовались!* отозвался Лёха.

*Ну так выползай!*

*А верно говоришь, они нас всех поубивали! Меткие, суки, по копытам бьют. А могли бы — насмерть. Так что мы пушистые!* с этими словами на Тропе, сильно напирая на суковатую палку, подпрыгивая на одной ноге появился... Борис, которого мы встретили возле ледника.

*Привет, Борис, или ты Лёха?* спросил его Иван.

*Лёха, Лёха,* отозвался Борис.

*А где твой калаш?* поинтересовался Иван.

*Я папоротник собирал, зачем мне оружие?*сказал Борис, с трудом поднимаясь на увал.

Я решил осмотреть рану Барановича, она была снаружи левого бедра, как мы и договаривались стрелять, чтобы нечаянно не задеть артерию.

*Ещё чего! Что б ты... жопа, в этом понимал?* удивился бандит.

*А то, что с жгутом можно максимум два часа ходить, если больше — придётся ампутировать,* засмеялся вдруг Иван, *я на войне насмотрелся, можешь и заражение крови схлопотать.*

*А сколько до колхоза пилить?*

*Если сейчас выедем, то к следующему утру доберёмся,* ответил я.

*Ну, тогда смотри,* согласился Баранович.

Я осторожно ослабил жгут, вытекло немного крови. Надавил слегка на бедро. Рана была сквозная, кость, судя по всему, не задета.

*Зачем ногу зажгутовал?* спросил я.

*Ютуба насмотрелся, видать,* засмеялся Иван.

*Ты делай, что надо,* прошипел мне нервно Баранович.

Заставил бандита спустить штаны, обработал рану, соорудил два тампона и крепко забинтовал, потом обмотал ещё поверх штанов, чтобы повязка не сползла при ходьбе.

*Горло болит?* спросил у него.

*Отвали,* буркнул Баранович.

Я, в отместку за грубость, крепко связал ему руки.

## *5*

*Что случилось?* спросил Иван Аню.

Она встала с тополя и, указав на перебинтованную голову лысого, рассказала:

*Женька попросился по-маленькому, освободила ему руку, он и вывалил свою балду, я тупо отвернулась, а этот скот меня в спину... ножом, потом схватил за ружьё, хотел вырвать, видать. Ружьё и выстрелило... как-то само собой получилось... прямо в лицо ему... шкура у него отвалилась от костей... на пол-лица, кровища, я ему назад приложила со страху... перебинтовала. Повезло, что дробь была... на птицу.*

*А кто вязал его?* спросил Иван, повернувшись ко мне.

Я замялся — лысого связывал Сергей.

*Я вязал,* ответил виновато Вахрин.

*А обыскать — не судьба?* уточнил Иван.

Я вздрогнул, это было выражение Иннокентия, он всегда так говорил, когда что-то не сделали: *не судьба было?*

*Моё упущение,* признался Сергей.

Я подошёл к рыжему, похлопал по карманам и нашёл у него такой же нож и ключи от квадроцикла.

Обыскали и Барановича, ножны на поясе были пусты, вероятно, кто-то из узбеков после драки припрятал, люди его побаивались — у Барановича была манера чуть что доставать и поигрывать кинжалом, даже во время обычного разговора. А в карманах нашлись только ключи от сейфа, сигареты и красивая бензиновая зажигалка. На безымянном пальце у него красовалось дорогое белое кольцо с крупным бриллиантом — тысяч на двадцать долларов, что за понты в тайге?

Сергей попросил бинт, выяснилось, что его тоже ранили, дробь попала в левую ногу. Стрелял в него один из тех, кто бросил ружьё и сбежал.

Я спустил ему брюки, заряд дроби попал чуть выше бедра, стреляли издалека, целились, похоже, в туловище, хотели серьёзно ранить. Свинец засел неглубоко, но ранки кровоточили. Я аккуратно достал дробинки и перебинтовал. Заметил у него ниже колена несколько старых шрамов — круглых и продольных, скорее всего, от аппарата Иллизарова, и вспомнил эту давнюю историю: Сергей поймал двоих браконьеров, и один из них выстрелил ему в ногу, перебил кость, а Вахрин попал ему в пах. По удивительному совпадению браконьер оказался первым мужем его жены, и на суде стал доказывать с помощью адвоката и подельника, что он никакой не браконьер, ружьё взял для защиты от медведя, Вахрин же просто мстил ему за жену, за то, что, якобы, продолжал спать с ней. Это было непростое дело, перестрелка случилась на границе заповедника, подельник стал свидетельствовать против Сергея, и оба доказывали, что он выстрелил первым. Его даже отстранили от работы — начальник рыбоохраны Сергея недолюбливал за несговорчивый характер. Но как-то обошлось, то ли браконьеры проболтались по пьяни, то ли нашлись свидетели. И Вахрин вышел на службу с аппаратом Иллизарова на ноге, бегал за браконьерами по увалам и тайге, натянув на спицы чехол, и получил в селе прозвище Рыбакопа.

Вспомнив всё это, я понял, почему Сергей отказывался стрелять первым.

Выехали ближе к вечеру, вздремнули, чтобы не уснуть за рулём. Дежурила Аня.

Мы с Сергеем сели за руль квадроциклов, к нему на скамейку багажника усадили рыжего и лысого тот на удивление оклемался и даже пытался подняться, что-то говорить, но только шепелявил беззубо и заваливался на бок, как пьяный. Сергей примотал обоих к багажнику, каждого отдельно, да так ладно, что они не съезжали и не елозили спинами по скамье.

Барановича и Лёху-Бориса посадили ко мне, связали руки и примотали к скамье так, чтобы не падали вперёд и не могли дотянуться до меня, соорудив им что-то вроде автомобильных ремней безопасности.

Аня поехала на Зорьке — из-за раны в плече и ушиба ноги ей было трудно управлять мотоциклом, к седлу с двух сторон привязали на поводу жеребца и лошадь. На байк сел Иван. Он то обгонял нас, то трещал сзади, несколько раз пристраивался к Ане, но Зорька, напуганная громкими выхлопами, шарахалась от него, да и Аня, переживавшая за лысого, отвечала невнимательно, невпопад.

К ночи добрались до охотничьей избушки Ильи Иннокентьевича.

Дверь была распахнута, — судя по царапинам от когтей на раме, окно выдавил медведь, да и его самого нашли на краю поляны с обожжённой пастью и выеденным брюхом. Это был, скорее всего, тот самый подранок, который шёл за нами почти от самого ледника. Должно быть, схватился, дуралей, с матухой, не отступил, она его и задавила, защищала медвежат. Или Максима. Он её подкармливал рыбой, до трёх лет, должна его помнить. Каждый день спускался на косу, ловил летом полосатую кету, а под осень черноголового зимнего кижуча, оставлял под берегом, а она наблюдала за ним сверху, стояла, держась лапой за берёзу, с белым пятном на груди. Я предупреждал Максима, чтоб не приманивал медвежонка, вот он ловил ей рыбу и оставлял под корягой.

С ним, должно быть, всё хорошо. Если бы она напала на него, то не унесла бы, они знакомых людей не объедают — убьют и бросают, но, чтобы убить, для неё нужны очень веские основания: к примеру, напасть на медвежат. И это удивительно, ведь своих сородичей они съедают. И всё-таки кровь под окном меня встревожила, и мы не стали чаевать, просто попили холодной воды, отпустили лошадей. Аню посадили к Ивану и помчались по следам оленя.

Я видел их в призрачном свете полной ясной луны: какое-то время они скакали за нами, потом сзади остался только жеребец Сергея, но и он вскоре выбился из сил.

Всегда так трудно смотреть за теми, кто спешит за тобой со всей мочи, не может догнать и, в конце концов, остаётся за поворотом.

## *6*

Запахло стойбищем: шкурами, юколой, костром.

Мы остановились — навстречу, вихляя в седле, скакал всадник, неизвестно, с какими вестями, может, «наехали» охранники из колхоза и надо пробираться в обход, с тыла.

Это был Саша, сын. Он обнял меня, успокоил: *Максим добрался, передал записку. Айну сильно подрал медведь, но всё должно быть хорошо с ней, кости,*

*глаза целы. Флотские прилетят к вечеру, ребята забьют оленя, наварят мяса, замаринуют для запекания на углях.*

*Максим притащил Айну на волокуше, сам сделал из перемётной сумы, обессилел, да ещё простудился, охлаждаясь в ручье, теперь спит. Снизу, из колхоза, никто не приезжал. В колхозе бунт, уже несколько дней, путина встала, людей не устраивает председатель, принял сторону учредителей, зарплату платит через раз, охрану завёл, работников притесняют, даже бьют. Как рабов. Колхозники требуют перевыборов, сейчас там комиссия от Законодательного собрания, но, скорее всего, ничем хорошим для бунтарей не закончится, ведь известно, что один из учредителей — зампред Заксобрания, бывший рэкетир и самбист. Ты должен его знать,* сказал Саша*, он тоже мастер спорта, чемпион Дальнего Востока, как и ты, только тяж.*

И верно, я его знал, этого Пашу Загинайло, возможно, он приложил руку к моему освобождению, ведь тогда вся областная федерация самбистов за меня поручилась, но с тех, девяностых, я с ним не виделся, хотя даже приглашение на свадьбу от него получил... Высокий такой, голубоглазый и речистый, любил длинные тосты произносить за столом, бывший пограничник, неудивительно, что до зампреда дорос. С другой стороны, активничать сильно не должен, прокуратура может признать конфликт интересов.

*Мы слыхали эхо, чужие много и плохо стреляли*, сказал Саша, разглядывая моё ухо. *По реке звук далеко идёт.*

Саша с возрастом всё больше походил на эвена, на Илью Иннокентьевича, перенял пастушьи ухватки, ходил так же широко расставляя ноги, стал цокать и говорить с интонациями человека, для которого русский — второй. Перенял эвенский говор, как будто слегка картавил, камешки перекатывал во рту — от жены и её родни.

Со смертью Лизы они стали ему ещё ближе. И это неудивительно: жена и её родня разве что не боготворили Сашу, во всём полагались на него. Что и говорить, он взял в руки и умело вёл всё наше непростое хозяйство: почти полторы тысячи оленей, которые требовали охраны, учёта и лечения, своевременной смены пастбищ; работа с десятком пастухов, организация отёла, забоя. Да и рыбалка: заготовка лосося, ремонт и обновление сетей — всё это требовало личного присутствия, хозяйского пригляда, и ему пришлось уйти из школы, отказаться от беззаботной сельской жизни учителя, переехать в стойбище за двести километров от села, дом в прошлом году достроить. Он чем-то напоминал мне доброго работящего барина, какого-нибудь озабоченного героя Толстого или Чехова, увлечённого заботами и жизнью помещика.

А по-эвенски он говорил так же плохо, неточно, хотя и быстро.

Жена не раз упрекала меня, что я критически отношусь к младшему сыну. Но ведь это не значит, что не люблю его, и Лиза это знала. Саша крепко стоял на земле, брал то, до чего мог дотянуться. И я был за него спокоен. А Иннокентий стремился за горизонт, вдаль, и о нём у меня всегда болело сердце, как будто я предчувствовал, какая судьба ему уготована.

Я только после смерти Лизы понял, что она, эта русская городская женщина, закончившая переводческое отделение Литературного института, незаметно стала для меня связующим звеном со всеми: с роднёй, соседями, жителями села, сыновьями и, что удивительнее всего, — с эвенами, этим немногословным, ценящим одиночество, гордым православным племенем.

*Надо вызывать вертолёт МЧС,* сказал я, *два браконьера серьёзно ранены.*

*Ну, так военные прилетят, я же сказал,* удивился Саша моей невнимательности.

Я извинился*: Ночь не спал, ничего в голове не держится. И мы троих коней на Тропе оставили, надо забрать, если не придут.*

Нас вышли встречать люди со всех стойбищ: старики, женщины, дети. Почти все в яркой городской одежде. Шли, поднимая руки, пританцовывая, как на праздник. Только пастухи были в военном камуфляже, с карабинами, и несколько человек, из Коерковых, со старыми потёртыми винчестерами, переделанными под наши пули. У них прадед долго жил на Аляске, и жену там взял.

*Пришли даже те,* сказал Саша, *у кого рации нет!*

*Значит, в бубны били*, догадался я.

*Ты в это веришь?* удивился он. *До Коерковых семьдесят километров.*

*Я не верю, я знаю,* засмеялся я. *И на сто, даже на сто пятьдесят километров можно достучаться.*

*А ничего, что сегодня Новый год по-эвенски,* засмеялся в свою очередь сын*, 22 июня! Поздравляю!*

Люди обступили меня и Ивана, снявшего свой синий рабочий халат, открыв ордена, оттеснили Аню и остальных, все хотели коснуться нас, подержать за руку, посмотреть в глаза, особенно дети. Были так рады нам, что у меня снова по-стариковски навернулись слёзы. Встречают как героев.

Никто и не сомневался, что мы дадим отпор бандитам, ведь со мной был друг нашего Иннокентия, великий воин Иван Окольчишин, и другие морские пехотинцы.

Держась за руки, стояли в сторонке Лиза, Кирилл и Максим, мои родные... Максим, как всегда, не поздоровался, смотрел в сторону, опустив голову. Он никогда сам первым не здоровался, отводил глаза, знаю — это Аспергер, но почему так же делала Айна, мне неведомо. И я всегда знал, что они давно и первыми видели, слышали меня и рады мне, как никто.

Мы оставили браконьеров в бане, даже не прикрыв дверь, но пришли старики, сказали: *Председатель*, это они меня так звали по-русски ещё с тех времён, когда я был главой района, *их надо выпустить, они должны видеть, как мы будем праздновать нашу великую победу, ведь мы — эвены и любим своих врагов, как учил нас святой Матфей и Илья Иннокентьевич. И ясак им платить теперь не будем.*

Мы выпустили их, и они сели в траву на высоком берегу, где выдувало комаров, подальше от горячего большого огня, прислонившись к берёзовой колоде. Женщины принесли на большом блюде варёное жирное мясо, обложенное черемшой, варёными клубнями саранки и прошлогоднего картофеля с брусникой, морошкой и шикшей.

Ровно в четыре над поляной с оглушительным грохотом закружил зелёный краснозвёздный вертолёт и сел в отдалении, рядом с Тропой, из него выпрыгнули четверо автоматчиков в чёрных беретах с красным флажком и бронежилетах, плотненький майор и худой скуластый капитан в камуфляже, следом за ними тяжело спустился по короткой лесенке гражданский в сером пуловере и с портфелем.

Я с трудом признал в нём своего следователя, почти два года продержавшего меня в СИЗО. Он отвёл глаза, значит, узнал, гнида. Они подождали, когда винт перестанет вращаться, от них отделился майор, он был совсем небольшого роста, но голос имел зычный, звонко прокричал:

*Окольчишин Иван! Долганов Степан Ильич!*

Мы подошли. За нами подбежали дети, столпились у люка вертолёта.

Иван отдал честь.

*Докладывайте,* приказал майор, слегка втянув своё кругленькое пузцо.

Иван по-военному кратко и чётко, как будто всю жизнь прослужил старшиной, доложил, даже упомянул кто и куда был ранен. Выслушав Ивана, майор сказал «вольно», подошёл ко мне, отдал честь, потом неожиданно обнял и сказал: *Командование Тихоокеанского флота подало на пересмотр наградное дело вашего сына Иннокентия Степановича Долганова на присвоение ему звания Героя России, посмертно.*

Вся поляна откликнулась неожиданно аплодисментами, как на концерте, не знаю, когда они научились этому, но потом резко дружно ударили бубны, и люди, собравшись в змейку, держась под руку, призвали меня, подхватили, пришлось прервать общение с моряками, топать со всеми по солнечному кругу, постепенно смыкая огромное просторное кольцо вокруг большого огня, в которое вошли уже женщины, дети, двинулись от вертолёта, притопывая и выкрикивая, перекликаясь, опустив вниз головы: *иэдье... иуруйа... йанди... би и эм, йинмач... йинмач* — быстрей... быстрей...

Это длилось минут десять, потом хоровод распался, но движение не прекратилось, мы горделиво подняли головы и перешли на бег, похожий на олений, — высоко поднимая колени, и, наконец, завершили всеобщим победным хорканьем... и... снова аплодисментами, улыбками на вспотевших лицах.

Люди подхватили моряков, отвели к большому огню, усадили на траву и стали угощать варёным и запечённым на углях мясом.

Ко мне подошёл капитан в камуфляже, с крохотным щитом и мечами в петлицах, представился: *Виктор Петрович Лабунец, помощник военного прокурора,* и пояснил, что *поскольку в перестрелке с подозреваемыми принимал участие военнослужащий, участник СВО, то расследование всех обстоятельств дела относится к юрисдикции военной прокуратуры.*

Также капитан Лабунец представил мне и старшему рыбинспектору Сергею Макаровичу Вахрину господина с портфелем — адвоката подозреваемых Семёна Аркадьевича Соловейчика.

Семён Аркадьевич, не подав виду, что мы знакомы, энергично и даже как бы добродушно тиснул мне руку. Потом Сергею, который недоверчиво при этом взглянул на него.

Нас пригласили в вертолёт, в самый хвост, где стоял жёлтый бак, более метра в обхвате, выдали каждому бланк военной прокуратуры с протоколом допроса и предложили изложить всё, что нам известно по этому делу. Мы заполняли бланки, приложив их к баку. Аня, пристроившись рядом со мной, постоянно спрашивала, кого и как зовут, фамилии, отчества. Писала она довольно-таки связно, но со странными ошибками, хотя в графе образование

значилось «высшее», особенно меня удивило слово «коммуфляж», это означало, что она считает его однокоренным со словом «коммунист». Я ей ничего не сказал, просто вдруг почувствовал почему-то нашу огромную разницу в возрасте.

Бандитов завели, точнее, занесли в сопровождении автоматчиков. Рыжий и лысый писать не смогли, или не захотели, а Лёха-Борис заявил, *что он никакого отношения к этой кампании не имеет, трудится поваром в Петропавловском кафе «Маккам», а здесь временно, устроился на период отпуска рыбаком.*

Баранович, пошептавшись с адвокатом, написал, что работает начальником охраны в колхозе «Труженик», ездил в Эссо, на обратном пути попали в засаду, их обстреляли и ранили неизвестные им люди, впоследствии представившиеся инспекторами Камчатрыбвода.

Сергей Вахрин, услышав об этом, изменился в лице, подошёл к Соловейчику с очевидным намерением то ли схватить его за горло, то ли ударить, но я встал между ними.

*Я-то выполняю свою работу, а у вас, господин инспектор*, с едкой улыбкой сказал адвокат, нисколько не испугавшись, *входит в привычку стрелять по мирным гражданам...*

Я повернулся к Соловейчику, продолжая спиной теснить Сергея, и спросил: *А давно ли вы обслуживаете бандитов, помнится, ещё недавно успешно ловили их...*

И, не дожидаясь ответа, предложил помощнику военного прокурора слетать на браконьерскую тоню, опросить работников, а точнее, рабов-узбеков, и на месте убедиться в правоте наших слов.

Капитан тотчас же согласился, переговорил с майором, все погрузились в вертолёт. Меня оставили, как сказал Лабунец, *чтобы не отвлекать от праздничных мероприятий.* И по доброжелательным улыбкам и взглядам майора, капитана и автоматчиков я понял, что эти морские пехотинцы всецело на нашей стороне, они и прилетели, чтобы поддержать нас, а прихватили из городского представительства колхоза адвоката, чтобы соблюсти все правовые формальности.

И за всеми этими военными в чёрных беретах, чисто выбритыми молодыми лицами, бронежилетами, автоматами, за этой огромной летающей машиной, чувствовал я, незримо стоял Иннокентий.

Аня забралась в люк последней — стояла, крепко захватив мой локоть, и потом, когда её за протянутую руку легко подняли в вертолёт военные, освободили место у двери, — долго и весело помахивала мне в иллюминаторе, пока медленно, а потом всё быстрее и быстрее разгонялись тяжёлые лопасти, поднимая тёплый разметавший мусор, ураганный ветер и заставляли падать на него.

## Часть шестая

# *Максим, Степан Ильич и Арсений*

...И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

*Александр Блок, 1905 г.*

## *1*

Я сказал деду, что прах папы нужно высыпать в Кичу не здесь, в стойбище, а с утёсов, над лесом, куда мы с ним и мамой ходили смотреть на закат. Там солнце заходит всегда почти на полминуты позже, говорил он.

Не знаю, почему я так подумал, может, это папа мне подсказывает, но оттуда так хорошо видно всё вокруг. И вулкан Хоашен — от белой двуглавой вершины до коричневого подножия. И тайга за ним в отрогах Срединного хребта. И дым стойбища, и тундра в зелёных шкурках кедрача и оранжевых огоньках саранки по всему урочищу, ложу реки, — до самого хмурого Охотского моря на горизонте.

Вся наша родная сторона.

*Не надо рая, дайте родину мою,* кричал кому-то папа, разводя руки над простором. Как будто вчера.

Степан Ильич сел на берёзовую колоду возле реки, набил трубку табаком, но раскуривать не стал — задумался о чём-то. Спрятал трубку в кулаке.

Из чума, пятясь, задом подняла полог и вышла Айна, повернула к нам забинтованную голову. Прислушивается. Я побежал к ней, обнял, хотя она этого не любила.

Я был виноват, не снял с неё ошейник в лесу. Медведь зацепился когтем за него, и Айна не смогла вовремя отпрыгнуть.

*После десяти пойдём тогда!* крикнул вслед Ильич.

Это место на Киче эвены называют *Ньулкы*, что значит «утёс над рекой», а русские — Аквариумом, потому что под утёсом глубокая прозрачная зелёная вода со стаей чёрных гольцов у дна. Они поднимаются, когда вылетает тучей подёнка, и только тогда их можно поймать. А туристы не знают, суют им, как в колодец, червя или икру.

Степан Ильич называет это место просто Чёртовым мостом — когда-то, рассказывал он, на этом утёсе росла одинокая лиственница. Она стала такой большой, что не могла удержаться на скале. И её ветром с моря стало клонить поперёк узкой здесь реки, выдирая корни из камней. Это началось ещё до появления здесь эвенов. А когда они пришли, лиственница уже лежала с берега на берег, сохла, и стала совсем опасной. И по ней ходили только мыши, белки и местные духи.

Лиственницы давно уже нет, но холодными лунными ночами её можно ещё увидеть. И, говорит Степан Ильич, странное дело, она не лежит на утёсах, а висит над рекой, серая, голая, изгрызенная короедом, цепляется своими прозрачными сучьями за лёгкие облака. Колыбель духов.

Вершину Ньулкы видно из стойбища. И когда я смотрю на неё, — вижу над лесом и лиственницу, она похожа на облако, вытянутое под самое небо.

По реке до неё километр, но это против быстрого течения. А по тропинке, вокруг густого кедрача, — почти три. Но мы всегда ходим пешком, и только раз с папой пошли на бате. Он хотел похвастать, как хорошо управляет им. С нами была мама, она испугалась медведя — тот плюхнулся выше нас с берега и поплыл-пошёл через реку. Мама вскочила, качнула бат, а папа как раз перекладывал шест на другой борт и подтолкнул её. Мама упала в реку, папа поймал её, и они стояли на течении по пояс в холодной воде. Мама заплакала от страха, а папа смеялся и обнимал одной рукой, другой держал за корму длинный бат, его вместе со мной разворачивало течением. А медведь перешёл на другую сторону, по пути схватил зубастого алого горбыля нерки и стал есть на берегу. И чёрная его жопа лежала в реке.

Под берегом всегда глубже, и папа с мамой поплыли, держась за борт, папа стал плескать в меня водой, и я засмеялся. Мама сказала: *Могли ребёнка простудить!*

Мы вышли на косу сушиться. Разделись, разложили одежду на горячих камнях, разожгли костёр для дыма. Мама обняла меня, и я заснул. Я часто засыпаю, когда мама обнимает меня, и когда смотрю на дым. Он как облако и поднимается к небу. Лучше бы я смотрел на папу, чтобы хорошенько запомнить.

Папа принёс огромную охапку цветущего иван-чая и вывалил на нас. Я проснулся, а мама только улыбнулась, так и лежала на солнце без одежды, но в розовых цветках. И папа поцеловал её.

Мама очень красивая.

Мама и папа часто ссорились, потому что папа «не ревнует маму только к фонарному столбу». Но почему при этом больше всего кричит мама? Если они начинают ссориться за столом, то она может *кидануть* тарелку в пол. И папа потом собирает осколки.

Я не сразу убегал в свою комнату, хотя мне становилось страшно, просто закрывал глаза и зажимал уши. Я боялся, что от злости кто-нибудь из них превратится в зубастого Зайца. А вдруг Заяц меня съест? И не хотел, чтобы они бежали за мной, хватали и тормошили.

Они решили даже *разойтись*, но у них не получилось, выяснилось, что не могут жить друг без друга.

Однажды, я был тогда совсем маленький, приехал Степан Ильич и стал ругать их: *Запугали своими криками ребёнка, и поэтому он не говорит. Хотя ему уже три года.*

Я хотел сказать Степану Ильичу, что давно уже разговариваю, только сам с собой. И для разговоров мне никто больше не нужен. Я любил разговаривать с Аркадием Паровозовым, с Зайцем из «Маши и медведь», с Верой Павловной из «Простоквашино». Ещё я любил разговаривать с Хрюшей, но потом увидел старую заставку к «Спокойной ночи, малыши» с ужасным зубастым Зайцем и понял, что Хрюша и есть тот Заяц. Его нарисовал художник Юрий Норштейн в 1999 году. Правильнее будет сказать, что тот страшный Заяц притворяется розовым Хрюшей. Самое ужасное в той заставке — когда Заяц в конце оглядывается, смотрит и прикладывает палец к губам. Это он так приказывает никому не рассказывать, как он приходит ночью и смотрит из темноты. Я попросил подарить мне этого *Пятачка*, и сразу же отправил его на холодный

балкон в нашей городской квартире и никогда к нему больше не подходил. И перестал смотреть в ю-тубе «Спокойной ночи, малыши» со старой, 1999—2001 годов заставкой.

Мама до сих пор этому удивляется, спрашивает, не боюсь ли я Хрюши, раз отправил его в *ссылку*. Я молчу, если скажу о нём кому-нибудь, этот человек превратится в Зайца и станет приходить ночью, прикладывать палец к губам и смотреть из темноты.

С того дня Степан Ильич забирал меня на лето в Эссо и часто разговаривал со мной. Обо всём. Просто сидит рядом в избе, точит пеликенов и говорит. Я молчал-молчал, а потом вдруг спросил у него: *Откуда взялась эта книга, Евангелие от Матфея? Кто и когда написал, я должен это знать.* Он мне её часто пересказывал на ночь. А Степан Ильич вдруг заплакал и обнял меня, потому что стал плаксой на старости.

*Ты знаешь такие взрослые большие слова!* удивился он.

*Я знаю всю эту книгу!* сказал я. *И ещё знаю и могу рассказать все части с Аркадием Паровозовым, все серии «Кунфу Панда», «Домашних животных», «Монстров на каникулах», «Мифы Древней Греции»...*

С тех пор я разговаривал со Степаном Ильичом, а потом мне стало интересно разговаривать и с другими знакомыми, и особенно незнакомыми людьми. Узнавать от них новое и делиться с ними *своей информацией*. Так я оказался в компьютерной школе. Там изучаю языки, на которых пишут игры. И Сергей Васильевич Коробов, наш преподаватель по информатике, 9 апреля 2000 года рождения, сказал маме, что я *хватаю всё на лету*. Это значит — запоминаю сразу, как услышу.

Я понял, что, когда всегда молчишь, люди думают, что ты ЗПР.

## *2*

«Пора мне рассказать о нас с мамой, и я обращаюсь в будущее, к тому, кем ты станешь через много лет и постараешься понять нас. Я хочу, чтобы ты знал, за что я воевал и за что погиб.

Меня рядом не будет, и сейчас это самое сильное испытание — невозможно смириться с тем, что я оставляю тебя одного в нашем охваченном войной мире. Без отцовской защиты, без поддержки. Если бы было возможно говорить с тобой бесконечно, и эта моя книга стала бы разговором с тобой без конца.

Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Хочется верить в своё бессмертие. Или его нужно заслужить? Чем? Верой? Тем, что ты предан своей стране и готов защищать её до последнего своего смертного часа?

На войне нет людей, которые не верят в Бога. Вера даёт солдату силу и надежду. И многих она спасает. Даже если враг хотел убить именно его, ему предназначал эту мину или пулю.

В Апокалипсисе Иоанн Богослов, родившийся в 11-м и умерший в 100 году, обещает, что все святые в час сражения с восставшим Зверем и гибели старого мира воскреснут и станут новым человечеством, и я знаю, что он говорит и о тех, кто отдал жизнь за свою страну. Пусть они не были праведниками при жизни, но умерли святыми. И потому незримо присутствуют в этом мире, помогая своим близким.

Вот эта мысль и делает меня почти бессмертным, потому что быть с вами, протягивать вам руку — это нескончаемое счастье. И если это и будет так, я спокоен.

Я солдат, и война для меня — это жизнь. Другая — полная риска, страха, даже ужаса. Это жизнь рядом со смертью. И когда я побеждаю этот страх смерти или иду ему навстречу, я почти счастлив. И иногда мне кажется, что я не могу без этого жить. Как не может рыбак без моря, охотник без тайги, а солдат без братства людей, повенчанных со смертью.

И я ещё в Сирии понял, что мирная жизнь — не для меня, и я становлюсь обузой для родных, потому что проявляется мой скверный характер, я становлюсь сварливым, мелочным, ревнивым, и этим достаю твою маму. И мне очень повезло, что она любит и понимает меня, не отталкивает.

Но это не значит, что я люблю войну, я, как и все, как твоя мама, как твой дед Степан Ильич, её ненавижу, ненавижу разорванные тела, трупы врагов, гниющие в цветущих полях, заросших сорняками оврагах, кровь...

И в то же время я — человек войны, винтик огромной государственной машины. Человек с ружьём. Над нами — депутаты, правительство, командующий. А напротив, через границу, такие же, как я, винтики, армия, народные избранники... И вот мы стоим друг против друга с шуточками, насмешками: год, десять, тридцать лет. И за это время у них становятся героями фашисты — те, кто ненавидит людей другой национальности, кто убивал евреев, поляков и русских. И их правительство объявляет врагами своих граждан, которые не хотят подчиняться фашистам, называют их сепаратистами, и винтикам приказывают убивать других винтиков, а заодно и их жён и детей, чтобы они не плодились, и не надо было бы их убивать. А мы стоим и смотрим на всё это, потому что нам говорят, что мы не можем вмешиваться, это не наше дело. И это значит, что мы тоже винтики.

Но они начинают защищаться, они уже не хотят быть винтиками, они поднимаются с колен и бьются почти голыми руками — со своей армией, своим фашистским правительством, своей страной — за своих родителей, своих жён и детей, за свою землю, за своих предков и свой язык.

И мы встаём рядом с ними.

Твоя мама — человек удивительной красоты. Её преданность своему делу и своим близким не знает границ. Она пошла в прадеда, лингвиста, знатока тунгусских наречий Асмуса Фёдора Иогановича, 1880 года рождения — год его смерти неизвестен. Он был прибалтийским немцем, чья семья насчитывает почти 200 лет службы у русских царей — генералы, министр и губернатор, учёные и военные. Он поддержал революцию 1905 года и после её разгрома эмигрировал в Германию. В 1917 году вернулся в Россию, женился на приёмной дочери иркутского купца — эвенке Марии Спиридоновне Шелиховой, 1895—1950 гг., преподавал в Петербургском университете, за верную службу новой России был обвинён в 1932 году большевиками в призывах тунгусских племён к мятежу во время коллективизации и отправлен на золотые прииски, откуда бежал, поскольку хорошо знал те места и умел выживать в тайге. По версии властей — погиб, по семейной легенде — его подобрали кочевавшие в тех краях эвенки, они и сохранили записки профессора и передали в краеведческий музей, не указав своих имён, а автора назвав просто профессором.

А твоя мама нашла в архивах донос на своего прадедушку и добилась его реабилитации. Ей помог в этом муж, сотрудник секретной службы, он, к несчастью, погиб на сплаве в Карелии. После этой трагедии она уехала на Камчатку, в наше Эссо, встретила в музее твоего дедушку и полгода прожила в нашем стойбище. Видимо, судьба была тебе родиться, мой дорогой сын, потому что мама вышла замуж за меня!

Она пожертвовала ради нашей семьи своей наукой, оставила Институт Севера, поехала со мной в Сирию, а потом, когда меня ранили, моталась по госпиталям, приехала на Камчатку, куда я, после ранения, получил назначение военкомом.

Мама против войны. Это не просто её убеждение, которое разделяют миллионы людей в нашей стране, ещё помнящие самую страшную в истории человечества битву, это основа, сердцевина её личности. Нельзя нападать на слабого, а тем более на соседнюю братскую страну, с которой мы связаны тысячей нитей и были и есть один народ. Надо было найти другое решение, не войну. И это понимание разъедает её душу, разрывает нашу семью.

И этим пользуются наши враги, они пытаются возбудить ненависть к нашему правительству, ко мне, к таким, как я.

Я — солдат, и мой долг защищать и беречь Россию, и когда мне какие-то *наши* люди говорят, что Крым не наш, я не понимаю их, не понимаю, как может русский человек, какой бы он национальности ни был, так истово не желать своей стране возвращения исконной территории, как он может забыть, сколько русских солдат пролили кровь за эту землю, сколько их там полегло. Ты ведь помнишь, как об этом писал наш гений Лев Николаевич Толстой!

Я знаю, такие люди были всегда в России. И в своей ненависти к её царям и вождям они готовы открыть врагам ворота в нашу страну, отдать её на растерзание.

Возможно, у них была и есть какая-то своя правда, но я никогда не предам свою страну, как бы кого-то в ней ни ненавидел.

Господи, благослови наших детей, не дай обмануть их! Господи, благослови нашу Россию!»

## *3*

Мы никому не сказали, только своим — дяде Саше, Светлане Марковне, Лизе и Кириллу.

*Это наше семейное дело,* сказал Степан Ильич.

*Почему же,* возразил дядя Саша, *может, они тоже захотят попрощаться с Иннокентием?*

*Ну, пусть идут,* согласился неохотно Степан Ильич, *просто я хотел тихо, по-семейному. Устал уже от людей.*

*Придётся потерпеть, теперь он не только наш, он герой всех эвенов.*

Степан Ильич махнул рукой, отвернулся с мокрыми глазами, все решили, что он загордился сыном до слёз, и только я заметил, что он обиделся, потому что я тоже не хотел, чтобы папа был героем *всех* эвенов. Он только *мой* папа. И сын моего деда. И всё должно быть по-нашему.

Но деда не мог запретить им идти с нами. И когда пришло время заката, мы все тронулись в путь. Цепочка людей вытянулась на целый километр, и ещё много их осталось в очереди на поляне, чтобы ступить на тропинку.

Мы несли кувшин по очереди не потому, что я уставал, просто знал, что деда тоже хочет нести папу, и потому уступал его ему.

За нами шёл дядя Саша со Светланой Марковной, Арсений, а Кирилл и Лиза, вприпрыжку, — впереди, за ними — Айна. Я освободил ей от повязки один глаз — вырезал ножницами дырку в бинтах.

Она сильно прихрамывала на левую сторону, там, где болью отдавала рана. А Васька с нами не пошёл, он не любит уходить от стойбища, остался лежать у входа в чум, возле дымокура. И я не стал его заставлять.

А в нескольких шагах от нас — остальные: Долганские, Делянские, Уяганские, Коерковы, Адукановы...

Бабушки, ещё на поляне, завели песню для ходьбы, простую и без слов: *ойе... а-а, ойе... о-о... ойе... о-хо-хо, ойе... а-а...* И её подхватили дружно, в такт шагам, некоторые, это были женщины, при этом раскачивались и взмахивали руками по-чаячьи, другие — мужики и парни, — притоптывали, приседали слегка, как в танце охотников.

Тропинка всё заметнее поднималась в гору, и когда я оглядывался, мне казалось, что за нами ползёт огромная живая пёстрая змея.

Когда деда передавал мне кувшин, я чувствовал на гладких боках тепло его ладоней, и ещё я чувствовал, что папа рядом, близко. А когда отдавал кувшин, папа как бы отстранялся вместе с ним от меня, и к лицу, к груди, к которой я прижимал кувшин, прикасался лёгкий холод. И чем выше мы поднимались к Ньуклы, тем сильнее был этот холод, и мне совсем не хотелось расставаться с папой. И деда сказал мне: *Всё, Максим, неси до верха сам!*

Я сначала сильно обрадовался, но потом, почти сразу, испугался, и так сильно, что чуть не уронил кувшин и закричал: *Деда, не надо, давай вместе нести!*

Деда улыбнулся мне, подставил свою большую ладонь под дно кувшина, и мы пошли совсем рядом, прижимаясь друг к другу, по тесной тропинке. И я забыл обо всех, кто шёл за нами, забыл и о Кирилле, о Лизе, и только хотел, чтобы и Айна была вместе с нами, рядом, смотрела на папу одним своим грустным глазом из-под повязки. И я думал о маме, о Ваське, чтобы и они были с нами.

Мы подошли к самой вершине утёса, туда, где когда-то росла одинокая лиственница. Деда хотел отпустить меня, но я ещё теснее придвинулся к нему, посмотрел в глаза, и он подхватил меня и поставил на вершину, свободную от старых высохших корней лиственницы. Они захватили и обвили весь утёс.

И мы огляделись. Солнце легло на морской горизонт. По фиолетовой тундре бежали к нам длинные плоские тени.

Деда распустил марлю на горловине кувшина и вновь подставил свою ладонь под дно. Ветерок, поднимавшийся от реки, подхватил пепел, я закрыл глаза, почувствовал лицом теплое лёгкое прикосновение, затем пепел густой струёй упал в Аквариум, за ним со дна поднялись гольцы — сначала мелкие, потом крупные, почти чёрные, в красных плавниках и красных точках по светлым бокам. Они хватали пепел с поверхности, ударяли хвостами, думали, что это мелкие вкусные мушки или мошкара и их надо сбивать брызгами,

гнались потом вниз по течению, в шумных струях, сильные, свободные и весёлые, наверно...

И я вдруг почувствовал, что остался один, папа, который был всё это время со мной, уплыл с гольцами к Охотскому морю.

*Теперь он один, и поднимается из-за горизонта холодная, ледяная, в колючем инее на траве ночь.*

## *4*

Всё это время — до подъёма на Ньуклы — Арсений ощущал окружавший его мир как чужой, немного опасный и одновременно фантастический, сказочный и привлекательный. Он не заметил, когда именно это произошло, когда открылся некий портал в другое измерение и деревья, эти устрашающе перекрученные, в изломах, но живые каменные берёзы, эта пахучая дурманящая трава трёхметровой высоты и с молодой бамбук толщиной, со странным именем *шеломайник*, уводящим в средневековую Русь, эти непроходимые толпы молодого тальника, копьями поднимающиеся на песчаных косах быстрых притоков Кичи, эти розовые просторные луга буйно, выше человеческого роста, цветущего кипрея, обрели здесь иную, противостоящую ему, сущность.

Этот волшебный процветающий мир у подножия клокочущих вулканов населён удивительно стойким к ударам судьбы племенем великих кочевников, тысячи лет с боями пробивавшихся сюда через стылые враждебные просторы Сибири. Это и есть Земля Санникова, думал Арсений, не плод фантазии академика Обручева, а реальная земля с реальными людьми, словно шагнувшими сюда с киноэкрана. И даже вождь, Степан Ильич Долганов, чем-то похож на шамана в исполнении Махмуда Эсамбаева, — так же точны и по-кошачьи вкрадчивы его движения.

И потом, когда эти люди дали ему ружьё, но разрешили стрелять только для того, чтобы защитить свою жизнь, он их ослушался и стал биться вместе с ними.

Его отослали к Максиму, он согласился с ними, согласился с тем, что *это не его война,* и если он убьёт кого-то, то станет убийцей. Никто не хотел, чтобы он стал убийцей.

Он это почувствовал, как и то, что это война эвена Степана Ильича , и Сергея, и Ивана, хотя те не были эвенами. Но это была их земля, их деревья, их река, и они все — земляки. И они бились за свою землю.

Это значит, что он для них — чужой. Для них, для Максима и Кристины. А хотел бы стать своим. Это непросто. Просто — умереть за них.

Они поднимались в гору, вслед за солнцем, которое ещё стояло на кромке горизонта, освещало их лица, а тропинка, отделившаяся от Тропы, была уже в тени.

Арсений оглянулся, люди, шедшие за ним, пританцовывали, по птичьи взмахивали руками. Так они провожали Иннокентия, прощались. Не плакали — пели.

Они были — как одна огромная змея, с песней неспешно ползущая в гору.

И Арсений вдруг почувствовал своё одиночество, как тяжёлый камень в руках, хотя знал, что глубоко одиноки — они, идущие за ним.

Но их одиночество было другим, это было одиночество целого народа, и он ощущал их как кочующее во времени одинокое племя.

И он запел, вплёл свой голос в общий хор.

*Теперь он не один, и поднимается из-за горизонта холодная, ледяная, в колючем инее на траве ночь.*

Максим позвал, провожая взглядом уходящее солнце, самую его слепящую горбушку над горизонтом, красную дорожку, бегущую к урочищу через всё море, прозрачную жёлтую полоску заката под низкими тёмными облаками, и великий Хоашен на юге, и родную тайгу за ним, уже в синей тени ночи.

Он стоял и звал, обращаясь к родной реке, траве, деревьям и облакам, и холод в груди отступал, таял, и впервые к глазам его поднялась тёплая влага.

Степан Ильич встал за спиной, положил тёплые сильные руки ему на плечи.

Максим услышал, как тихо, осторожно вскочила на вершину Айна, села близко, подняла к нему голову.

Степан Ильич обнял, прижал их к себе, чтобы они не упали со скалы.

Айна вдруг крикнула, так сильно, что Степан Ильич почувствовал, как напряглось и вытянулось на миг её тело. Она вздохнула и... запела.

*Это не вой, не волчий долгий стон,* думал Степан Ильич, *а её родовая песня.*

Айна звала кого-то, как зовут уже бесконечные тысячи лет оленные люди, волки, дикие звери и перелётные грустные гуси и белые лебеди, идущие клином над вечным Парапольским долом, зовут, даже если они не одни.

Кого же они зовут? Кому кричат? И кто должен отозваться?

Тот, кто уже никогда не вернётся, кто не придёт назад.